ЭЛИЗАБЕТ СТРАУТ

ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ




НОМИНАЦИЯ НА ПРЕМИЮ BOOKER 2022

# Ах, Вильям!

## Элизабет Страут

Аннотация
Элизабет Страут. Ах, Вильям!
Благодарности

## Аннотация

Писательница Люси Бартон давно в разводе со своим первым мужем Вильямом, с которым прожила в браке много лет и вырастила двух дочерей. Но когда у Люси умирает второй муж, а Вильяма бросает жена, они ищут поддержки друг у друга и вместе отправляются в Мэн на поиски сестры Вильяма, о существовании которой он до недавних пор не подозревал. События настоящего переплетаются в рассказе Люси с воспоминаниями о прошлом: о детстве в бедном провинциальном городке, о жизни с Вильямом в Нью-Йорке, о поездках на отдых с его матерью. Вильям всегда был для Люси загадкой, и, размышляя о том, кто он такой, она также размышляет о скорби, одиночестве, семейных узах и любви.

Негромкая, лаконичная проза Страут таит удивительное обаяние. Ирония, легкий юмор, теплота, сострадание, психологичность - все это делает новую книгу Элизабет Страут настоящим литературным явлением.

# Элизабет Страут
# Ах, Вильям!

ЭЛИЗАБЕТ СТРАУТ

# Ах, Вилли!

*Перевод с английского*
Светланы Арестовой




phantom press

Москва

*Эта книга посвящается моему мужу,*
*Джиму Тирни.*
*А еще каждому, кто в ней нуждается,*
*— она для вас*

Я хотела бы кое-что рассказать о своем первом муже, Вильяме.

Недавно в жизни Вильяма произошли печальные события — как и у многих из нас, — но я хотела бы о них упомянуть, такое почти навязчивое желание; сейчас ему семьдесят один год.

Мой второй муж, Дэвид, умер в прошлом году, и, скорбя по Дэвиду, я скорбела и по Вильяму тоже. Скорбь — это… Ах, это такое одинокое чувство; в этом весь ее ужас, как мне кажется. Ты как будто незаметно для всех съезжаешь по фасаду очень высокого стеклянного здания.

Но здесь я хочу рассказать о Вильяме.

* * *

Его зовут Вильям Герхардт, и, выйдя за него замуж, я взяла его фамилию, хотя в годы нашего студенчества это было немодно. Моя соседка по квартире сказала: «Люси, ты берешь его фамилию? Я думала, ты феминистка». А я ответила,

что больно нужно мне быть феминисткой; я ответила, что больше не хочу быть собой. В ту пору мне казалось, что я устала быть собой, всю жизнь я мечтала стать кем-то другим — так мне казалось, — вот я и взяла его фамилию и на одиннадцать лет стала Люси Герхардт, но в этом всегда было что-то неправильное, и почти сразу, как умерла мать Вильяма, я пошла в транспортное управление и поменяла фамилию на водительских правах, хоть это и непросто; пришлось предоставить документы из суда; но я это сделала.

Я снова стала Люси Бартон.

Когда я ушла от Вильяма, мы уже почти двадцать лет прожили в браке, сейчас у нас две взрослые дочки, и мы давно на дружеской ноге — сама не понимаю как. Есть много кошмарных историй о разводе, но, не считая самого расставания, наша не из таких. Порой мне казалось, что боль от нашего разрыва и от страданий моих девочек убьет меня, но я не умерла, и вот я здесь, и Вильям тоже.

Я писатель и потому излагаю эту историю почти что в романной форме, но излагаю правдиво — насколько это в моих силах. И я хочу сказать… Ах, как трудно подобрать слова! Если

я пишу что-то о Вильяме, значит, я видела это своими глазами или слышала от него самого.

Мой рассказ начинается, когда Вильяму было шестьдесят девять, то есть чуть меньше двух лет назад.

* * *

Иллюстрация.

Ассистентка в лаборатории Вильяма начала звать его Эйнштейном, и Вильям от этого балдел. По-моему, он вовсе не похож на Эйнштейна, но я понимаю, о чем она. У Вильяма белые с серыми вкраплениями усы, очень пышные, но ухоженные, и пышные белые волосы. Они действительно торчат в разные стороны, даже когда подстрижены. Только Вильям высокий и очень хорошо одевается. И в его чертах нет того намека на безумие, который, как мне кажется, был у Эйнштейна. Обычно лицо Вильяма сковано непреклонной любезностью, кроме тех редких случаев, когда он запрокидывает голову, заходясь настоящим смехом; давно он этого не делал. Глаза у него карие и по-прежнему большие; не у всех к старости глаза остаются большими, а у Вильяма остались.

Итак…

Каждое утро Вильям просыпался в своей просторной квартире на Риверсайд-драйв. Представьте, как он откидывает мягкое стеганое одеяло в синем хлопковом пододеяльнике — рядом, в их громадной кровати, все еще спит жена — и направляется в туалет. Каждое утро он вставал с затекшими мышцами. Но у него была гимнастика, и он ее делал, шел в гостиную, ложился на спину на большом красно-черном ковре под антикварной люстрой и вращал ногами, будто крутит педали в воздухе, а затем вытягивал и сгибал их так и эдак. После этого он садился в большое бордовое кресло у окна, выходящего на реку Гудзон, и читал новости на ноутбуке. Вскоре из спальни появлялась Эстель и сонно махала ему, а затем шла будить их дочку, Бриджет, которой было десять, и, когда Вильям выходил из душа, они втроем завтракали на кухне за круглым столом; Вильяму нравился этот их распорядок, и дочка у него была болтушка, что тоже ему нравилось, это как слушать птичий щебет, сказал он однажды, и мать ее была болтушка.

Выйдя из дома, он пересекал парк, садился в подземку и, доехав до Нижнего Манхэттена, вы-

ходил на Четырнадцатой улице, откуда пешком добирался до Нью-Йоркского университета; ему нравились эти ежедневные прогулки, хоть он и замечал, что ходит уже не так быстро, как молодые люди, проталкивающиеся мимо с пакетами еды, или с колясками с двумя детьми, или с наушниками в ушах, ковриками для йоги за спиной и в лайкровых колготках. Вильям радовался, что и сам много кого может обогнать — старика на ходунках, или женщину с тростью, или даже своего ровесника, шагающего медленнее него, — и благодаря этому чувствовал себя здоровым, и живым, и почти неуязвимым в мире постоянного движения. Он гордился тем, что проходит больше десяти тысяч шагов в день.

Вильям чувствовал себя (почти) неуязвимым, вот что я пытаюсь сказать.

Иногда во время этих прогулок он думал: господи, я ведь мог бы оказаться на месте того мужчины — дремал бы в инвалидном кресле под утренним солнцем Центрального парка, голова склонилась на грудь, рядом, на скамейке, печатает что-то в телефоне сиделка; или на месте вот этого — с неровной походкой, скрюченной после инсульта рукой; но потом Вильям думал: нет, я не на их месте.

И он не был на их месте. Он был, как я уже сказала, высоким мужчиной, который с годами не набрал лишнего веса (разве что обзавелся маленьким брюшком, под одеждой почти незаметным), чьи волосы, теперь уже белые, не поредели, и он был… Вильямом. И у него была жена, третья по счету, на двадцать два года моложе его. И это не пустяки.

Но по ночам его мучили страхи.

Вильям рассказал мне об этом как-то утром — чуть меньше двух лет назад, — когда мы встретились на чашку кофе в Верхнем Ист-Сайде. Встретились мы в закусочной на углу Девяносто первой и Лексингтон-авеню; у Вильяма много денег, и он часто их куда-нибудь жертвует, и одно из учреждений, куда он их жертвует, — это больница для подростков неподалеку от моего дома, и раньше, если у него бывали там совещания, он звонил мне и мы встречались на чашку кофе на углу. Тем утром — дело было в марте, за пару месяцев до его семидесятилетия — мы сидели за столиком возле окна, стекла были расписаны трилистниками в честь Дня святого Патрика, и я подумала — я правда подумала, — что у Вильяма какой-то усталый вид. Я всегда считала,

что возраст его только красит. Пышные белые волосы придают ему выразительности, он носит их чуть длиннее, чем раньше, и они слегка вздымаются над его головой, но их уравновешивают большие поникшие усы; скулы у него стали более очерченными, глаза по-прежнему темные, и вот что немного странно: бывает, он смотрит на тебя — внимательно, любезно, — и на секунду его взгляд становится пронзительным. Что он пронзает этим взглядом? Я так и не поняла.

Тем утром, в закусочной на углу, спрашивая: «Ну как ты, Вильям?» — я ожидала услышать обычное ироническое: «Просто замечательно, Люси, большое спасибо», но он сказал лишь: «Нормально». На нем было длинное черное пальто, и, прежде чем сесть, он снял его и перекинул через спинку соседнего стула. Его костюм был сшит на заказ, с тех пор как он встретил Эстель, он все костюмы шьет на заказ, поэтому пиджак идеально сидел на плечах; костюм был темно-серый, а рубашка бледно-голубая, а галстук красный; вид у него был торжественный. Он скрестил руки на груди, это у него такая привычка. «Хорошо выглядишь», — сказала я, и он ответил: «Спасибо». (По-моему, за все минувшие годы Вильям ни разу не говорил мне, что я выгляжу

хорошо, или мило, или хотя бы неплохо, а я, если честно, всегда надеялась это услышать.) Он заказал нам кофе, его глаза заскользили по комнате, и он легонько потянул себя за усы. Он говорил о наших девочках — боялся, что Бекка, младшая, на него сердится: на днях, когда он позвонил поболтать, в ее тоне была смутная неприязнь, и я посоветовала, пусть не напирает на нее, она сейчас осваивается в браке; так мы беседовали несколько минут, затем Вильям взглянул на меня и произнес:

— Лютик, я хочу кое-что тебе рассказать. — Он подался вперед: — По ночам меня мучают страхи.

Если Вильям использует мое старое прозвище, значит, он включился в беседу по-настоящему, мне всегда очень приятно, когда он так меня называет.

— Тебе снятся кошмары? — спросила я.

Он задумчиво склонил голову набок.

— Нет. Все начинается, когда я просыпаюсь посреди ночи, в темноте. Никогда со мной такого не бывало, — добавил он. — Но это жутко, Люси. Просто жуть берет. — Он поставил чашку на стол.

Я смерила его взглядом:

— Ты пьешь какие-то новые таблетки?

— Нет, — насупившись, ответил он.

Тогда я сказала:

— Ну попробуй принимать снотворное.

А он мне:

— В жизни не принимал снотворного (что меня не удивило).

Зато жена принимает, сказал он; Эстель глотает таблетки пригоршнями, он давно оставил попытки в них разобраться. «Пора пить таблетки», — весело говорит она и через полчаса уже спит. Он не возражает. Но снотворное — это не для него. Как бы то ни было, часа через четыре он просыпается, и тут начинаются страхи.

— Расскажи, — попросила я.

И он рассказал, поглядывая на меня лишь изредка, будто страхи его еще не отпустили.

Страх первый: он безымянный, но связан с матерью Вильяма. Его мать — звали ее Кэтрин — умерла много лет назад, и по ночам он ощущает ее присутствие, но не в хорошем смысле, а в плохом, и это его удивляет, ведь он ее любил. Вильям был единственным ребенком в семье и понимал (тихую) ярость ее любви.

Пытаясь унять этот страх, он лежит в постели рядом со спящей женой — он сам мне сказал,

и его слова чуть не убили меня — и думает обо мне. Что я нахожусь сейчас где-то, живая, — что я жива, — и это его утешает. Ведь он знает, сказал он, поправляя ложку на блюдце, что, если придется, — хотя вообще он бы, конечно, не стал делать этого посреди ночи, — но уж если придется, он может позвонить мне, и я отвечу. Мое присутствие — величайшее для него утешение, и только так ему удается уснуть.

— Ну конечно, ты всегда можешь мне позвонить, — сказала я.

Вильям закатил глаза:

— Я знаю. В этом весь смысл.

Еще страх: он связан с Германией и отцом Вильяма, который умер, когда Вильяму было четырнадцать. Его отца привезли в Америку из Германии в числе немецких военнопленных — это было во время Второй мировой — и отправили работать на картофельные поля в штате Мэн, где он и познакомился с матерью Вильяма, тогда еще фермерской женой. Наверное, это худший страх Вильяма, потому что его отец воевал на стороне нацистов, и этот факт иногда напоминает о себе по ночам и не дает Вильяму покоя; перед глазами у него всплывают концлагеря — мы видели их, когда ездили в Германию, — и газовые камеры,

и ему приходится вставать, и идти в гостиную, и зажигать свет возле дивана, и смотреть в окно на реку, но сколько бы он ни думал обо мне или о чем-то еще, ничто не помогает. Этот страх посещает Вильяма не так часто, как другие, но, когда посещает, его просто жуть берет.

И последний: он связан со смертью, с чувством ухода. Вильям ощущает, как почти уходит из мира, а поскольку в загробную жизнь он не верит, по временам его пронизывает ужас. Но обычно он не вылезает из постели, хотя порой все-таки вылезает, и идет в гостиную, и садится в большое бордовое кресло у окна, и читает книгу — он любит биографии, — пока не почувствует, что готов уснуть.

— И давно у тебя эти страхи? — спросила я.

Мы ходили в эту закусочную уже не первый год, и по утрам там всегда было полно народу; нам принесли кофе и немного погодя — четыре белые бумажные салфетки.

Вильям смотрел в окно на старушку с ходунками; ходунки были с сиденьем, и двигалась она медленно, сгорбившись, а полы ее пальто развевались на ветру.

— Пару месяцев, — сказал он.

— То есть они начались без всякой причины?

Вильям взглянул на меня своими темными глазами из-под разросшихся бровей:

— Думаю, да. — Затем откинулся на спинку стула и добавил: — Наверное, я просто старею.

— Возможно, — сказала я. Но он меня не убедил. Вильям всегда был для меня загадкой — и для наших девочек тоже. — А ты не хочешь к кому-нибудь обратиться насчет своих страхов? — нерешительно спросила я.

— Боже, нет, — сказал он, и эта его черта не была для меня загадкой, я ожидала такого ответа. — Но это ужасно, — добавил он.

— Ах, Пилли, — сказала я, так я ласково называла его в далеком прошлом. — Я очень тебе сочувствую.

— Зря мы тогда поехали в Германию. — Вильям взял со стола салфетку и вытер нос. Затем — почти рефлекторно, как он всегда это делает — пробежал пальцами по усам. — И уж точно зря мы поехали в Дахау. Мне все мерещатся эти… эти крематории. — Он бросил на меня взгляд. — Ты правильно сделала, что не пошла внутрь.

Когда мы были в Германии, я не заходила ни в газовые камеры, ни в крематории, и меня удивило, что Вильям это запомнил. Я уже тогда

понимала, что лучше мне на такое не смотреть, вот и не заходила. Годом ранее у Вильяма умерла мать; мы отправили девочек в летний лагерь на две недели, им было девять и десять, а сами полетели в Германию; моим единственным условием было, чтобы мы летели разными рейсами, так сильно я переживала, что мы оба разобьемся и девочки останутся сиротами, хотя позже я поняла, как это глупо, ведь мы могли разбиться и на автобане, пока мимо со свистом проносились машины, — так вот, мы полетели в Германию, чтобы разузнать что-нибудь об отце Вильяма; как я уже говорила, он умер, когда Вильяму было четырнадцать, умер в больнице Массачусетса от перитонита, ему удаляли полип в кишечнике и случайно проткнули стенку толстой кишки, от этого он и умер. Полетели мы еще и потому, что за несколько лет до этого Вильям получил большое состояние, оказалось, его дед нажился на войне, и, когда Вильяму исполнилось тридцать пять, ему достались деньги из трастового фонда, и это не давало ему покоя, и вот мы вместе полетели в Германию повидаться с его дедом, тот был очень стар, и двумя тетками, они были вежливы, но холодны, на мой взгляд. У старика, его деда, были маленькие блестящие

глазенки, он мне особенно не понравился. Невеселая была поездка.

— Знаешь что? — сказала я. — Думаю, со временем страхи исчезнут. Это просто период такой.

Вильям снова взглянул на меня:

— Хуже всего те, что с Кэтрин. Понятия не имею, с чем они связаны. — Вильям всегда называл мать по имени, даже когда обращался к ней. Не помню, чтобы он хоть раз назвал ее мамой. Внезапно он отложил салфетку и встал. — Мне пора, — сказал он. — Всегда приятно с тобой повидаться, Лютик.

— Вильям! И давно ты пьешь кофе?

— Уже много лет.

Он чмокнул меня, и щека у него была холодная, а усы немного колючие.

Я повернулась к окну, чтобы проводить его взглядом: он быстро шагал к подземке; держался он не так прямо, как обычно. И это зрелище чуточку разбило мне сердце. Но я уже привыкла к такому вот чувству — оно появлялось почти после каждой нашей встречи.

По будням Вильям работал у себя в лаборатории. Он паразитолог и много лет преподавал микробиологию в Нью-Йоркском университете; за ним оставили лабораторию и одну асси-

стентку, пары он больше не ведет. О парах: он с удивлением обнаружил, что не скучает по ним, что аудитория со студентами — он недавно мне рассказал — всегда вызывала у него тревогу, он просто не осознавал этого, пока не перестал преподавать.

Почему это меня так растрогало? Наверное, потому, что я не догадывалась и потому что он сам не догадывался.

Итак, каждый день он приходил в лабораторию и работал там с десяти до четырех: писал статьи, и проводил исследования, и руководил своей ассистенткой. Время от времени — несколько раз в году — он ездил на конференции и читал доклады перед другими учеными.

* * *

После нашей встречи в закусочной с Вильямом случились две вещи, и скоро я до них дойду.

Сначала я коротко расскажу о его женах.

Я, Люси.

Вильям — тогда еще магистрант — был помощником преподавателя биологии, когда я училась на втором курсе колледжа в пригороде Чикаго, так мы и познакомились. Он был — и есть, конеч-

но, — на семь лет старше меня.

Я росла в беспросветной бедности. Это тоже часть истории, и мне хотелось бы ее пропустить, но я не могу. Я росла в крошечном домике посреди Иллинойса, мы переселились в крошечный домик, когда мне было одиннадцать, а до этого жили в гараже. Когда мы жили в гараже, у нас был маленький биотуалет, но он часто ломался, и отец приходил в ярость, был и уличный туалет в другой части поля; мать однажды рассказала мне историю, как одного человека убили, а его отрубленную голову спрятали в чьей-то выгребной яме. Я боялась просто до смерти, и стоило мне поднять крышку в нашем туалете, как мне сразу мерещились глазные яблоки, и, если поблизости никого не было, я часто ходила прямо в поле, хотя зимой это проблематично. Горшок у нас тоже был.

Наш домик стоял посреди акров и акров кукурузных и соевых полей. У меня есть старший брат и старшая сестра, и оба наших родителя тогда были живы. Но в гараже, а потом и в домике происходили очень плохие вещи. Я уже писала о некоторых вещах, происходивших в домике, и мне не хочется писать об этом снова. Но мы и правда были чудовищно бедны. Поэтому

я скажу просто: в семнадцать лет я поступила на полную стипендию в колледж в пригороде Чикаго, в нашей семье потолком было окончить школу. В колледж меня отвезла школьный психолог, звали ее миссис Нэш; она заехала за мной в десять утра в субботу в конце августа.

Накануне вечером я спросила у матери, что мне взять с собой, и она ответила: «Да плевать мне, что ты возьмешь с собой». В итоге я достала из-под раковины два бумажных пакета, принесла коробку из отцовского пикапа и сложила в пакеты и коробку всю свою одежду. Наутро, в девять тридцать, когда мать выехала из дома, я побежала за ней с криками: «Мама! Мамочка!» Но она свернула на дорогу с нарисованной от руки вывеской «Пошив и ремонт одежды». Брата с сестрой дома не было, я не помню, где они были. Незадолго до десяти, когда я собралась выходить, отец спросил: «Люси, у тебя есть все, что нужно?» А когда я посмотрела на него, в глазах у него стояли слезы, и я ответила: «Да, папуль». Хотя я не представляла, что мне понадобится в колледже. Отец обнял меня и сказал: «Пожалуй, останусь в доме», и я поняла его и сказала: «Хорошо, пойду подожду на улице» — и стояла на грунтовой подъездной дорожке с бумажными

пакетами и коробкой с одеждой, пока не приехала миссис Нэш.

С той секунды, как я села в машину миссис Нэш, моя жизнь переменилась. Как она переменилась!

А потом я встретила Вильяма.

Скажу сразу: мне до сих пор бывает очень страшно. Думаю, это из-за того, что происходило со мной в детстве, но я очень легко поддаюсь страху. Почти каждый вечер, когда заходит солнце, мне до сих пор бывает страшно. А иногда меня просто охватывает тревога, будто со мной вот-вот случится что-то ужасное. Хотя, когда я встретила Вильяма, я этого о себе не знала — мне казалось… ну, что просто я такая.

Но когда я уходила от Вильяма, я записалась к психиатру, это была милейшая женщина, и в тот первый прием она задала мне ряд вопросов, и я на них ответила, и тогда, сдвинув очки на макушку, она объяснила мне, как называется то, что со мной происходит. «Люси, у вас тяжелый посттравматический синдром». В каком-то смысле это мне помогло. Ну, как порой помогает называть вещи своими именами.

Я ушла от Вильяма, когда девочки поступили

в колледж. Я стала писателем. То есть я всегда была писателем, но я начала издаваться — точнее, до этого я уже издала одну книгу, но я начала издавать и другие, вот что я имею в виду.

Джоанна.

Спустя год после того, как наш брак распался, Вильям женился на женщине, с которой у него шесть лет была связь. Может, и дольше, я не знаю. Эта женщина, звали ее Джоанна, была нашей общей подругой из колледжа. Внешне Джоанна — моя противоположность, то есть высокая и с темными длинными волосами; человек она спокойный. К удивлению Вильяма, в замужестве она стала желчной (об этом он рассказал мне лишь недавно), из-за того что провела свои детородные годы у него в любовницах — никто из них этого слова не употреблял, его употребляю сейчас я, — и когда они стали жить в браке, Джоанну всегда расстраивало, что у нас с ним две девочки, хотя она знала их с малых лет. Вильяму не понравилось ходить с Джоанной к семейному психологу. Он обнаружил, что психолог — женщина умная, а Джоанна — не очень, но пока Вильям не попал в этот кабинет — с серыми подушками на унылом диване, с офисным креслом напротив, с искусственным светом, со шторкой

из рисовой бумаги, закрывавшей единственное окно с видом на стройку, — пока он не попал туда, он этого не понимал — что Джоанна умом не блещет и все эти годы его привлекало в ней лишь одно: она не его жена, Люси. Она не я.

Консультации он терпел два месяца. «Ты хочешь только то, чего не можешь получить», — тихо сказала ему Джоанна в один из последних вечеров, проведенных вместе, и он — руки скрещены на груди, так я его себе представляю — ничего не ответил. Брак продержался семь лет.

Я ненавижу ее. Джоанну. Я ее ненавижу.

Эстель.

Третья жена Вильяма была женщиной обходительной (куда моложе его), и у них родился ребенок, хотя он не раз говорил ей, что не хочет больше детей. Сообщив ему о беременности, Эстель добавила: «Ты же мог сделать вазэктомию», и он этого не забыл. Мог. И не сделал. Он понял, что Эстель все спланировала, и сразу пошел на вазэктомию — не сказав ей ни слова. Когда у них родилась девочка, он кое-что открыл для себя в позднем отцовстве: он любил ее. Он очень ее любил, но один ее вид, особенно когда она была маленькой, и еще больше, когда подросла, почти постоянно напоминал ему о двух

дочках от брака со мной, и когда он слышал о мужчинах, имевших две семьи — и пожалуй, он себя к таким относил — и уделявших младшим детям больше времени, из-за чего старшие недолюбливали младших и так далее, он всегда думал: «Нет, это не про меня». Потому что его дочка Бриджет, дочка от Эстель, наполняла его такой ностальгической любовью к двум старшим, которым было уже хорошо за тридцать, что он едва стоял на ногах.

Разговаривая со своей Эстель по телефону, Вильям, бывало, называл ее Люси, и Эстель всегда смеялась и не принимала это близко к сердцу.

* * *

В следующий раз мы с Вильямом увиделись на празднике в честь его семидесятилетия, который устроила у них дома Эстель. Близился конец мая, и вечер выдался ясный, но холодный. Моего мужа, Дэвида, тоже пригласили, но он был виолончелистом, он играл в филармонии и не мог пропустить концерт, так что я пришла одна, а наши девочки, Крисси и Бекка, пришли со своими мужьями. Я дважды была в этой квартире, один раз мы отмечали помолвку Бекки, а другой раз — день рождения Крисси, и мне никогда там

не нравилось. Ты продвигаешься вглубь, как в пещере, и взгляду открываются одна комната за другой, и повсюду темно, и, на мой вкус, они перегнули палку с декором, хотя, на мой вкус, почти все перегибают палку. Люди, росшие в бедности, часто компенсируют это роскошными интерьерами, но квартира, где жили мы с Дэвидом — где до сих пор живу я, — обставлена просто; Дэвид тоже рос в бедности.

Эстель же родом из Ларчмонта, Нью-Йорк, она росла в богатстве, и, глядя, во что они с Вильямом превратили свою квартиру, я всегда тихо недоумевала, ее даже квартирой назвать трудно — сплошь деревянные полы с дорогими коврами и деревянные дверные наличники, просто масса темного дерева, а потом еще люстры там и сям и кухня величиной с нашу спальню, то есть по меркам Нью-Йорка просто огромная, с массой хромированных деталей, и опять это темное дерево, деревянные шкафчики и все такое. Круглый деревянный стол на кухне и длинный, громадный деревянный стол в столовой. И зеркала повсюду. Я знала, что комнаты богато обставлены, взять хотя бы бордовое кресло у окна, махина с мягкой обивкой, или темно-коричневый диван с бархатными подушками.

Я просто никогда не понимала эту квартиру, вот что я пытаюсь сказать.

По пути к Вильяму я зашла на рынок и купила охапку белых тюльпанов, и, вспоминая об этом теперь, я снова убеждаюсь, что мы выбираем подарки, которые нравятся нам самим. В квартире было много народа, хотя не так много, как я ожидала, но такие вот торжества, мне от них не по себе. Ты с кем-то беседуешь, и тут подходит другой человек, и ты прерываешься, а потом, продолжив рассказ, замечаешь, что его взгляд блуждает по комнате, — сами знаете, как это бывает. Словом, я нервничала, но девочки — наши девочки — были просто душками и вдобавок хорошо обращались с Бриджет, я это заметила, и мне было радостно, потому что, обсуждая ее со мной, они не всегда так великодушны, и, конечно, я принимаю их сторону, мол, она глупая и пустышка и все в таком духе, но она всего лишь девочка, к тому же красивая и знает об этом. А еще она богачка. Но это все не ее вина, напоминаю я себе каждый раз, когда ее вижу. Она мне не родня. Зато она родня нашим девочкам, так что вот.

Бывшие коллеги Вильяма из Нью-Йоркского университета тоже пришли на юбилей, пожи-

лые мужчины с женами, некоторых я знала еще с давних пор, и все было нормально. Только утомительно. Одна женщина, Пэм Карлсон, — я смутно помнила, что раньше они с Вильямом вместе работали в какой-то лаборатории, — так вот она напилась и много разговаривала со мной в тот вечер, и все о своем первом муже, Бобе Берджессе. Помню ли я его? Я сказала, что нет, к сожалению, не помню. На Пэм было стильное платье в облипку, какое мне и в голову не пришло бы надеть, — нет, сидело оно хорошо, такое черное платье без рукавов, правда, с довольно глубоким декольте, но руки у нее были худые и выглядели так, будто она занимается в спортзале, хотя она, вероятно, моя ровесница, а мне тогда было шестьдесят три — и пьяная она была по-своему трогательна; она кивнула на своего мужа, стоявшего поодаль, и сказала, что любит его, но часто ловит себя на мыслях о Бобе, а посещают ли меня мысли о Вильяме? И я ответила: «Иногда», а затем попросила меня извинить. Я подозревала, что еще бокальчик — и я сама все выложу про Вильяма и в какие моменты мне его не хватает, но делать этого я не хотела, а потому подошла к Бекке, и она потрепала меня по руке и сказала: «Привет, мамуль». А потом Эстель

произнесла тост; на ней было платье с пайетками и изящной драпировкой на плечах; она красивая женщина с такими как бы непокорными рыжевато-каштановыми волосами, которые всегда мне нравились, и вот она произнесла тост, и я подумала: «Как хорошо у нее получилось. Но на то она и актриса».

— Мам, — прошептала Бекка, — мне тоже придется говорить тост…

— Ну что ты, — сказала я. — Никто тебя не заставляет.

Но потом Крисси произнесла тост, и получилось очень хорошо, я не помню его дословно, но вышло не хуже — а то и лучше, — чем у Эстель. Я помню только — в какой-то момент она говорила о работе Вильяма и сколько всего он сделал для своих студентов. Крисси высокая, пошла в отца, и никогда не теряет самообладания, это у нее с детства. Бекка взглянула на меня полными страха карими глазами и пробормотала: «Ох, ладно, мамуль». И сказала, поднимая бокал: «Пап, я пью за то, что тебя люблю. За это я пью. Я тебя люблю». И люди захлопали, и я обняла ее, и к нам подошла Крисси, и девочки очень тепло общались, так у них, по-моему, почти всегда; они всегда были, как мне кажется, почти неесте-

ственно близки, они живут в двух кварталах друг от друга в Бруклине, а потом еще я поболтала с их мужьями; муж Крисси работает в финансовой сфере, что для нас с Вильямом немного странно, но лишь потому, что Вильям ученый, а я писатель, и мы не знаем людей из мира финансов, и человек он проницательный, это видно по его глазам, а муж Бекки — поэт, боже милостивый, бедный малый, и, по-моему, он очень на себе зациклен. А потом к нам подошел Вильям, и все мы непринужденно болтали, пока кто-то его не позвал, и тогда он наклонился ко мне и сказал: «Спасибо, что пришла, Люси. Ты молодец, что пришла».

* * *

Когда мы с Вильямом были женаты, порой я его ненавидела. С гирей глухого страха в груди я замечала, что за любезной отстраненностью, за мягкими чертами он недоступен. Даже хуже. Потому что за ореолом любезности таилась детская досада, гримаса, мелькавшая в душе, пухлый карапуз с оттопыренной нижней губой, который винит то одного, то другого, — он винил и меня, я часто это ощущала, он винил меня за то, что было никак не связано с нашей тогдашней жизнью,

он винил меня, даже когда называл «милая», подавая мне кофе, — сам он кофе не пил, но мне готовил каждое утро, ставил передо мной чашку, точно мученик. Да оставь ты себе свой дурацкий кофе, хотелось выкрикнуть порой, я сама себе его приготовлю. Но я брала чашку, касаясь его руки. «Спасибо, милый», — говорила я, и мы начинали новый день.

* * *

После праздника, пока такси везло меня по городским улицам и через парк, я думала об Эстель. Она такая красивая, с этими своими непокорными рыжеватыми волосами и блестящими глазами, и такая приветливая. У нее, сказал мне как-то Вильям, никогда не бывает депрессии, и, по-моему, он неосознанно пытался меня задеть, ведь я не раз страдала от депрессии за годы нашего брака, но тем вечером я подумала: «Хорошо, что у нее никогда не бывает депрессии». Когда они познакомились, Эстель болталась по театральным подмосткам. Вильям видел ее всего в одной пьесе, они тогда уже были женаты, пьеса называлась «Могила сталевара», поставили ее в небольшом независимом театре, и мы с мужем тоже пошли. Я просто опешила,

заметив, что между репликами глаза Эстель невольно блуждают по залу, будто кого-то ища. Она ездила на бесконечные прослушивания, к которым готовилась дома, расхаживая по просторной гостиной и репетируя роль Гертруды, или Гедды Габлер, или кого-нибудь еще, и, когда приходили отказы, ничуть не расстраивалась. Зато она снялась в парочке рекламных роликов, один крутили по местному телеканалу, и там она рассказывала о дезодоранте: «Мне он подходит идеально. — Она подмигивала. — Спорим, — показывая пальцем в камеру, — подойдет и тебе?»

Им часто говорили, что они очаровательная пара. А еще Эстель хорошая мать, пусть и немного рассеянная. Так считает Вильям, и я с ним согласна. Бриджет тоже рассеянная, и они очень похожи внешне, мать и дочь, и это еще больше всех очаровывает. Однажды Вильям увидел, как Эстель и Бриджет гуляют по Виллиджу, — он сам мне рассказывал — они только что вышли из магазина одежды, и его поразило, до чего одинаковые у них жесты, когда они идут вот так и смеются. Эстель заметила его и суматошно замахала, а Вильям не из тех, кто размахивает руками на улице, и позже она шутливо его пожурила: «Когда жена настолько счастлива видеть

мужа, ей хотелось бы думать, что он тоже рад ее видеть».

* * *

Недавно, сидя у себя в квартире и любуясь городом — из окна у нас (у меня) открывается чудесный вид, — так вот, глядя на огни города, и на Ист-Ривер, и на Эмпайр-стейт-билдинг вдалеке, я думала о миссис Нэш, школьном психологе, которая отвезла меня в колледж перед началом учебного года, — боже, как я ее любила! По пути она вдруг свернула к торговому центру и, остановив машину, похлопала меня по руке: «Вылезай-вылезай», а когда мы зашли внутрь, приобняла меня за плечи, заглянула мне в глаза и сказала: «Через десять лет, Люси, можешь со мной расплатиться». И купила мне одежды; целый ворох футболок с длинным рукавом разных цветов, и две юбки, и две блузы, одна была такая симпатичная, в деревенском стиле; и что мне больше всего запомнилось и за что я больше всего любила миссис Нэш — это белье, которое она купила мне, небольшая стопка самого симпатичного белья, какое я только видела, и еще она купила мне джинсы моего размера. И она купила мне чемодан! Бежевый с красной каем-

кой, и, когда мы вернулись к машине, миссис Нэш сказала: «У меня идея. А давай сложим все внутрь?» И открыла багажник, и поставила туда чемодан, и открыла чемодан, и затем бережно и милосердно срезала каждый ценник малюсенькими ножничками, позже я узнала, что они называются маникюрными, и мы сложили в чемодан все мои вещи. Это ее рук дело, миссис Нэш. Через десять лет ее уже не было в живых, она погибла в аварии, и я так и не расплатилась с ней, но я никогда, никогда ее не забывала. (Всякий раз, когда мы с Кэтрин ходили по магазинам, я вспоминала тот день с миссис Нэш.) Когда мы приехали в колледж, я сказала вроде как в шутку: «Можно я буду делать вид, что вы моя мама?» И она удивилась, а потом сказала: «Ну конечно, можно, Люси!» И хотя я ни разу не назвала ее мамой, в общежитии она была со всеми очень приветлива, и, мне кажется, все и правда подумали, что это моя мать.

Всегда — всегда! — я буду любить эту женщину.

* * *

Пару недель спустя Вильям позвонил мне из лаборатории — он любил звонить мне с рабо-

ты — и снова поблагодарил за то, что я пришла к нему на юбилей. «Ты хорошо провела время?» — спросил он. И я сказала, что хорошо; затем я сказала, что беседовала с Пэм Карлсон и та все время говорила о своем первом муже, Бобе каком-то там.

Болтая с Вильямом, я глядела на реку, мимо на буксире шла огромная красная баржа.

— Боб Берджесс, — сказал Вильям. — Хороший был парень. Она бросила его, потому что он не мог иметь детей.

— Он тоже с вами работал?

— Нет. Кажется, он был общественным защитником в суде. А его брата звали Джим Берджесс — помнишь дело Уолли Пакера? Его как раз защищал Джим.

— Да ладно? — сказала я. Уолли Пакер был соулпевцом, которого обвиняли в убийстве подружки, а Джим Берджесс добился для него оправдательного приговора. В то время, а было это много лет назад, процесс получил большую огласку; его показывали по телевизору, и за ним следила вся страна. Я всегда считала, что Уолли Пакер невиновен, я это помню, а Джима Берджесса я считала настоящим героем.

Пару минут мы обсуждали это дело; Вильям

сказал то же самое, что говорил прежде — какая я дурочка, что верю в его невиновность. Я не стала спорить. А потом вдруг спросила:

— А тебе-то праздник понравился?

Вильям ответил не сразу:

— Наверное.

— Что значит «наверное»? Эстель так старалась.

— Она заказала обслуживание, Люси.

— Ну и что? Зато она все организовала.

Баржа шла быстро; всегда удивляюсь, как быстро они ходят, сидела она неглубоко, наверняка пустая, черный низ корпуса высовывался из воды.

— Знаю-знаю. Нет, вечер удался. Ладно, мне пора.

— Пилл, — сказала я, — хотела спросить. Как твои ночи? Ну, твои ночные страхи?

И по его голосу я поняла, что из-за них-то он и позвонил.

— Ох, Люси, — сказал он. — Прошлой ночью меня снова посетил страх, часа в три, ближе к утру. Про Кэтрин… Это так странно, я даже описать тебе не могу. Она вроде как витает надо мной. — Помолчав, он добавил: — Думаю, придется пить таблетки. Я уже не выдерживаю. — Снова

пауза. А потом: — Такое ощущение, будто Кэтрин совсем рядом, и это… Люси, это нехорошо.

— Ах, Пилли, — сказала я. — Как я тебе сочувствую.

Мы поговорили еще немного и попрощались.

Но вот что я вспомнила, когда Вильям заговорил о своем юбилее.

В конце вечера я пошла на кухню, чтобы поставить бокал и попрощаться с Эстель, та шла чуть впереди, и на кухне, прислонившись к столу, стоял мужчина, ее приятель, раньше я его уже видела, и Эстель тихо сказала ему: «Умираешь со скуки?» А потом обернулась и, заметив меня, воскликнула: «Люси, как же здорово было с тобой повидаться!» Мужчина сказал что-то в том же духе — приятный человек, тоже из театральной среды, — и я немного поболтала с Эстель, а потом мы попрощались и я поцеловала ее в щеку. Но мне не понравилось, каким тоном она разговаривала с тем мужчиной, в ее голосе были интимные нотки и — возможно — намек, что ей самой скучно, а это было мне вовсе не по душе. Я ощутила «укольчик», вот что я хочу сказать. Но потом этот случай вылетел у меня из головы.

А еще (об этом я тоже вспомнила после звон-

ка Вильяма) перед уходом я заметила, что мои тюльпаны лежат на кухне в оберточной бумаге. Я не особенно расстроилась: квартиру украшал флорист, глупо было думать, что кому-то нужны купленные на рынке тюльпаны.

Саднил в памяти лишь голос Эстель.

* * *

В начале того лета мой муж заболел, а в ноябре он умер. Это все, что я способна сказать прямо сейчас, добавлю только, что брак с ним сильно отличался от брака с Вильямом.

И еще: моего мужа звали Дэвид Абрамсон, и он был… Ах, как же мне объяснить вам, каким он был? Он был собой! Казалось, мы просто созданы друг для друга — правда, — хоть это и звучит как ужасная банальность, но… Нет, больше я сказать не могу.

Но знаете что, когда обнаружилось, что Дэвид болен, и потом, когда он умер, первым я позвонила Вильяму. По-моему, — точно не припомню — я сказала «Вильям, помоги мне» или что-то вроде того. И он помог. Он нашел моему мужу другого врача — не сомневаюсь, лучше прежнего, — хотя к тому моменту медицина уже была бессильна.

А потом, когда Дэвид умер, Вильям снова мне помог. Он помог мне с деловыми аспектами — когда человек умирает, столько всего нужно сделать, заблокировать кредитки, закрыть банковские счета, а сколько всяких паролей в компьютере, — и Вильям посоветовал: пусть Крисси займется похоронами, и это была очень умная мысль; Крисси все и организовала.

В те первые ночи со мной была Бекка, она плакала за меня. Она рыдала и рыдала с детским самозабвением и без сил падала на диван, а потом говорила что-нибудь — даже не помню, что именно, — от чего мы обе прыскали со смеху. Она такая, милая Бекка. Она смешила меня, но в конце концов ей нужно было возвращаться домой, и это было правильно.

Во время службы в похоронном бюро Манхэттена — служба как была, так и осталась для меня размытым пятном — Бекка прошептала:

— Папа хотел бы сидеть с нами.

— Он сам тебе сказал? — спросила я, поворачиваясь к ней, и она торжественно кивнула. Бедный Вильям, подумала я.

Бедный Вильям.

* * *

Накануне Рождества мне позвонила Эстель и спросила, не хочу ли я отпраздновать с ними. Я сказала, что это очень мило с ее стороны, но я буду с девочками, и стоило мне это произнести, как я вспомнила слова Бекки о том, что Вильям хотел бы сидеть с нами на похоронах, и в голове у меня промелькнуло: а вдруг ему и Рождество хочется провести с нами, вдруг это он попросил Эстель нас пригласить? Но Вильям уже который год проводил Рождество с Эстель и ее матерью (и с Бриджет, естественно); Вильям и его теща были почти одного возраста. На Рождество в гостиной Вильяма и Эстель всегда стояла огромная елка, мне Бекка рассказывала, и вся квартира была нарядно украшена — нарядно, как в «Мейсис», с усмешкой добавила Бекка. На что я ответила: «И богато, как в “Саксе”?» — и мы рассмеялись. А после ужина Вильям с Эстель традиционно ходили на вечеринку где-то по соседству, ему всегда это нравилось.

— Понимаю. Тогда просто помни, что мы о тебе думаем, — сказала Эстель.

— Спасибо, — сказала я. — Спасибо вам большое.

— Мы знаем, без Дэвида тебе очень тяжело, — сказала она. — Боже, Люси… Мне прямо больно за тебя.

— Все нормально, — сказала я. — Не переживай. Но спасибо, — снова сказала я. — Правда. Я очень признательна.

— Ладно. — Эстель помедлила. — Ладно, — повторила она. — Ну пока.

* * *

Итак, наступил новый год. И одно за другим с Вильямом произошли два события. Но сперва я хочу упомянуть кое-что еще.

* * *

В январе Вильям рассказал мне — по телефону, из лаборатории, после того как мы поговорили о девочках, — что на Рождество он подарил Эстель дорогую вазу, которая приглянулась ей в одном магазине. А она подарила ему подписку на сайт, где ты можешь узнать свою родословную. Судя по тону Вильяма, подарок его разочаровал. Подарки всегда имели для него особое значение, которое мне не постичь. «Но это же гениально, — сказала я. — Какая хорошая идея, — сказала

я. — Ты почти ничего не знаешь о своей матери, Вильям, это твой шанс». Точно помню, что я это сказала. А он сказал лишь: «Ну да. Наверное». Этот Вильям меня утомлял, этот обиженный мальчик под маской достоинства и любезности. Но я не обращала внимания, ведь он уже не был моим. Повесив трубку, я подумала: «Слава богу». Про то, что он уже не мой.

* * *

Но вот о чем я рассказала бы этой женщине, Пэм Карлсон, если бы продолжила разговаривать с ней на юбилее. За пару лет до смерти Дэвида мы с ним отправились в Пенсильванию на свадьбу его племянника. Дэвид вырос в общине хасидских евреев в Чикаго, а в девятнадцать лет ее покинул; его подвергли остракизму, и он долгие годы не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра, так что я не очень хорошо ее знала, она казалась мне чужой, она и была чужой. Сперва мы ехали на поезде, затем сели в машину его сестры и полчаса добирались в потемках до гостиницы в какой-то глуши. Накануне выпал снег, и я сидела на заднем сиденье и смотрела в окно на проносившуюся мимо тьму, изредка попадались одинокие дома, мелькали

магазины — один с табличкой «Закрываемся навсегда» — и постройки, похожие на склады, и на душе у меня было тяжело. Потому что все это напомнило мне о Вильяме и как в молодости, когда я училась в колледже, мы ездили сквозь ночь из Чикаго на восток в гости к его матери, и мы как раз проезжали такие вот места, заснеженные и с виду заброшенные, но мне было так радостно с ним, мне было с ним уютно; как я уже говорила, у Вильяма не было ни братьев, ни сестер — в каком-то смысле к тому времени у меня тоже, — и тем вечером, сидя в машине с Дэвидом и его сестрой, я вспомнила, как же нам с Вильямом было уютно, ведь мы заключали в себе целый мир, и я вспомнила, как однажды в дороге он сказал, что я могу бросить косточку от персика в окно, и почему-то я бросила ее в его окно, он был за рулем, и косточка угодила ему в лицо, и, помню, мы смеялись и смеялись, будто на свете нет ничего смешнее. И потом еще, годы спустя, когда мы ездили в гости к его матери в Ньютон, штат Массачусетс, уже с маленькими девочками в детских креслах на заднем сиденье, ощущение уюта по-прежнему было с нами. Но тем вечером, когда мы с Дэвидом и его сестрой проезжали акры заснеженной земли и они

вполголоса обсуждали свое детство, когда мы проезжали рекламные щиты с надписями «Попал в ДТП? Позвони в ТПП», я подумала: «Только с Вильямом мне было безопасно. Он — мой единственный дом».

Вот о чем я рассказала бы Пэм Карлсон, если бы не ушла.

* * *

О своей бывшей свекрови, Кэтрин, я хотела бы сказать следующее.

Когда мы с Вильямом обручились, она взволнованно спросила меня, это было чуть ли не первое, о чем она меня спросила, мы разговаривали по телефону: «А ты будешь звать меня мамой?» Я ответила: «Попробую». Но у меня не получалось. Я могла называть ее лишь по имени, как Вильям. В девичестве она была Кэтрин Коул, и порой Вильям обращался к ней игриво и немного иронично: «Что новенького, Кэтрин Коул?»

Мы любили ее. Как мы ее любили — казалось, на ней зиждется наш брак. Она была полна жизни, лицо ее светилось. После знакомства с ней моя подруга из колледжа сказала: «Никогда не встречала человека, который бы так очаровы-

вал с первого взгляда».

Ее дом меня восхищал; он стоял на обсаженной деревьями улице в Ньютоне, штат Массачусетс. Когда я впервые переступила порог, сквозь кухонные окна лился солнечный свет, сама кухня была просторная, с белым столом, и сияла чистотой. Все поверхности были белые, а над раковиной, на полке поперек окна, стояла крупная африканская фиалка. Кран выгибался длинной дугой и сверкал серебром. Я будто попала в рай. Во всем доме было чисто, деревянные полы в гостиной медово поблескивали, в спальнях висели белые накрахмаленные занавески. В жизни не думала, что смогу так жить. Даже не мечтала. Но так жила она! Нет, правда, в голове не укладывалось.

Небольшая оговорка.

Я уже писала об этом в другой книге, но напишу еще раз: когда Вильям рассказал мне, что его мать была замужем за картофельным фермером в Мэне, я решила — ведь я ничего не знала о картофельных полях Мэна, — что она жила в бедности. Но это не так. Ее первый муж, картофельный фермер Клайд Траск, держал хорошую, доходную ферму, вдобавок он занимался политикой, он много лет был членом законодательного собрания штата от республиканцев. А ее второй

муж, отец Вильяма, стал инженером, когда приехал в Америку после войны. Так что Кэтрин была вовсе не бедна. Я не ожидала, что ее дом окажется таким элегантным. Думаю, она довольно высоко поднялась по социальной лестнице. Хотя я никогда не понимала всю эту классовую систему, потому что произошла из самых низов, а когда ты из низов, это не забывается. Словом, я так и не оправилась от этого, от бедности, от своих истоков, вот что я имею в виду.

Но в первую пору нашего знакомства, представляя меня своим подругам, Кэтрин касалась ладонью моей руки и тихо говорила: «Это Люси. Люси из бедной семьи». Я писала об этом в одной из прошлых своих книг.

В гостиной Кэтрин стоял длинный диван такого как бы мандаринового цвета, и если мы приезжали без предупреждения, а Вильяму очень нравилось так поступать, иногда мы заставали ее на этом диване. «Ой! Ой! — восклицала она, пытаясь подняться. — Идите сюда, я вас обниму», и мы подходили к ней, и она вела нас на кухню и доставала еду, без умолку болтая, без устали спрашивая, как у нас дела, уговаривая Вильяма постричься или побриться. «Ты такой красивый мальчик. — Она брала его за подбородок. — За-

чем ты прячешь от нас лицо? Избавься ты от этих усов». Она была как солнце. Почти всегда. Но случались у нее и грустные дни, и тогда она говорила полусмеясь: «Что-то мне тоскливо», и Вильям говорил, что у нее это давно, ничего страшного, но даже в грустные дни она оставалась добра, интересовалась подробностями нашей жизни, наших друзей она знала по именам и про них спрашивала тоже. «Как там Джоанна? — спросила она однажды. — Еще не нашла себе мужа? — И, подмигнув, добавила: — Унылая особа».

Она любила сидеть за столом и смотреть, как мы едим. «Расскажите мне всё!» — просила она. И мы рассказывали. Мы рассказывали, как нам живется в Нью-Йорке, мы рассказывали, что у старого соседа снизу молоденькая жена, которая его не любит, и однажды я рассказала, как он встал посреди лестницы и не пропускал меня наверх, пока я его не поцелую. «Люси! — воскликнула Кэтрин. — Какой кошмар! Никогда больше его не целуй!» Я сказала, что мне придется, на что она ответила: «Нет, не придется». Я сказала, это был всего лишь поцелуй в щечку, но мне от него стало не по себе. «Ну конечно, тебе стало не по себе! — Кэтрин покачала головой и погладила меня по руке. — Люси, Люси, — сказала она. — Мое

милое дитя».

Затем она повернулась к Вильяму: «А где были вы, молодой человек, пока домогались вашей жены?»

Вильям пожал плечами. Так он вел себя с матерью. Дразнился.

Кэтрин покупала мне одежду — обычно ту, что нравилась ей самой, но порой она и мне позволяла что-нибудь выбрать: рубашку в полоску, чтобы носить с джинсами, белое с синим платье с заниженной талией, я его обожала. Однажды она захотела купить мне белые лоферы. «Ты будешь в них жить», — сказала она. Я попросила ее не покупать мне лоферы, я не стану их носить; это она носит белые лоферы, вот что я подумала, но вслух не сказала, и в конце концов она их не купила.

Правда, через пару месяцев после свадьбы она избавилась от моего любимого пальто. Я купила его в комиссионке за пять долларов, оно было темно-синее, с огромными манжетами и развевалось при ходьбе — в общем, я обожала это пальто, в нем была вся я. А Кэтрин выбросила его, перед этим сводив меня в магазин и купив новое. Насколько я помню, она не выбрасывала пальто у меня на глазах, по-моему, она просто сообщила

мне об этом, когда я спросила, где оно. «У тебя теперь есть новое, хорошее», — рассмеялась она.

Самое забавное — забавное в смысле «занятное» — в том, что новое пальто было из магазина, где продавались не особенно хорошие вещи. Долгое время я об этом не знала, пока сама не начала разбираться в магазинах. Но то был почти магазин для малоимущих. Хотя в мои школьные годы мы и в такой не пошли бы, мы вообще редко ходили по магазинам. Но у моей свекрови были деньги — отчасти потому, что ее муж, Вильгельм Герхардт, отец Вильяма, работавший инженером, застраховал свою жизнь на большую сумму. И, когда он умер, ей досталось много денег. А пару лет спустя она получила риелторскую лицензию и стала продавать дома в хороших кварталах. Так что деньги у нее водились. Вот я к чему.

Она отдавала мне свои старые ночнушки, они были хорошие, белые с вышивкой. Их я носила.

* * *

Вспоминая Кэтрин, я поняла, почему Вильям во время своих ночных страхов утешается мыслями обо мне. Ведь если не считать наших девочек, которым было восемь и девять, когда Кэтрин умерла, из тех, кто был знаком с его матерью,

осталась только я. Джоанна тоже не в счет. После развода с Вильямом она уехала на Юг. И больше не выходила замуж. Насколько мне известно.

* * *

Как-то раз — еще до нашей с Вильямом свадьбы — Кэтрин попросила меня рассказать о своей семье, но стоило мне начать, и на глазах выступили слезы и я проговорила: «Не могу». И тогда она встала с кресла, и села рядом со мной на мандариновый диван, и обвила меня руками, и сказала: «Ох, Люси». Она повторяла это, поглаживая мои руки и спину и прижимая мое лицо к своей шее. «Ох, Люси».

В тот день она сказала: «У меня тоже бывает депрессия». И я была потрясена. Никто из моих знакомых, ни один взрослый мне этого не говорил — и она сказала это так буднично, а потом снова меня обняла. Я никогда этого не забуду. Она несла в себе доброту.

Кэтрин всегда приятно пахла, у нее была любимая парфюмерная линия, свой аромат. Потом я тоже стала пользоваться одной парфюмерной линией — не той же самой, — чтобы тоже иметь свой аромат. Но сколько бы я ни покупала пузырьков с лосьоном для тела, все мне было мало.

Услышав об этом, та милейшая женщина, мой психиатр, пожала плечами: «Вам просто кажется, что вы воняете».

И она была права.

На школьной площадке другие дети почти каждый день кричали нам с братом и сестрой: «Ваша семейка воняет!» — и, зажав носы, убегали.

* * *

Незадолго до семьдесят первого дня рождения Вильяма Крисси сообщила мне, что беременна. Я была на седьмом небе, даже не думала, что после смерти Дэвида вновь смогу почувствовать себя счастливой; мы с Вильямом обсудили новость по телефону — внучка или внук! — и он был рад, но от восторга не лопался, такой уж он, такой у него характер, я хочу сказать. Но через две недели у Крисси случился выкидыш. Ранним утром она позвонила мне из дома и прокричала в трубку: «Мам!» Она собиралась в больницу. Я немедленно поехала в Бруклин — подземкой, по утрам это самый быстрый способ туда добраться, — сначала я поехала в больницу, а потом мы с Крисси поехали к ней домой, и там мы лежали на диване, и она рыдала — боже, я и не знала, что Крисси способна так рыдать, — и хотя ростом

я ниже, она умостила голову у меня на груди и лежала так, пока рыдания не стихли; ее муж был дома, в больницу он тоже ездил, но теперь дал нам побыть одним. Я не стала говорить ей, что в следующий раз все получится, это не то, что ей нужно было услышать. Я просто обнимала ее и убирала прядки у нее со лба.

— Мам, — сказала Крисси, подняв на меня взгляд. — Если бы родилась девочка, я собиралась назвать ее Люси.

Я не поверила своим ушам.

— Серьезно? — сказала я.

Она потерла нос и кивнула:

— Серьезно.

Минуту-другую я гладила ее по волосам. Затем она сказала:

— Знаешь, мне так стыдно.

— Из-за чего, Крисси? — спросила я.

— Из-за выкидыша. У меня что, организм какой-то неправильный?

— Солнышко, — сказала я. — У миллионов женщин случаются выкидыши. Может, это, наоборот, значит, что у тебя все правильно работает.

— Хм… Об этом я не подумала, — сказала Крисси. Затем прижалась ко мне, как маленькая девочка, и я продолжила гладить ее по волосам.

Немного спустя она выпрямилась и сказала: — Представляю, как тебе плохо с тех пор, как Дэвида не стало.

— Спасибо, солнышко. Но не волнуйся, у меня все нормально, — сказала я.

И тут пришла Бекка, и она тоже разрыдалась, у нее это получается само собой, и Крисси сквозь смех сказала: «Ну все, хватит». Я осталась на обед, и, когда мы сели за стол, Крисси уже было заметно легче, ее муж обедал с нами, и Бекка тоже, и после обеда я сказала: «Ну ладно, я пошла, люблю вас», и они ответили: «Пока, мамуль, и мы тебя», как отвечают всякий раз, когда мы прощаемся.

Шагая по улице, я размышляла о том, что мать никогда не говорила мне «Я тебя люблю», и о том, что Крисси собиралась назвать свою дочку Люси. Она любит меня, моя девочка! Я и так это знала, а все равно удивилась. Если честно, я была потрясена.

На обратном пути в вагоне рядом со мной сидела спокойная женщина с ребенком, с маленьким мальчиком. Я наблюдала за ними; она его любила. Интересно, подумала я, случался ли у нее выкидыш и, если да, было ли ей стыдно? Она казалась удивительно самодостаточной, но самодостаточность эта включала и мальчика.

В руках у него была тетрадка «Готовимся к детскому саду», и женщина — полагаю, это была его мать — терпеливо произносила по слогам «оранжевый», «черный», «красный», пока мальчик искал в тетрадке цвета.

Из дома я позвонила Вильяму, и он сказал, что, беседуя с Крисси по телефону, похоже, ляпнул что-то не то: «Не волнуйся, говорю я ей, в следующий раз получится, а она мне: господи, пап, это все, что ты можешь сказать? Только это и слышу, а я ребенка потеряла!» И Вильям пожаловался мне: «Но это же еще не ребенок, чего она так вспылила?» А я попыталась объяснить ему, что для Крисси это все равно что ребенок. Я хотела добавить, что, будь это девочка, Крисси назвала бы ее Люси, но почему-то не стала. На этом наш разговор закончился.

Мне вспомнились слезы Крисси. И Бекки.

В детстве, если кто-то из нас начинал плакать, я, или брат, или сестра, наши родители приходили в ярость. Наши родители, особенно мама, часто приходили в ярость, даже если никто не плакал, но стоило одному из нас заплакать, и они просто теряли голову, так их это злило. Я уже писала об этом, но упоминаю еще раз, пото-

му что одной моей знакомой монахиня сказала, что у нее «дар проливать слезы». У Бекки тоже есть этот дар. И даже у Крисси, когда нужно. Мне часто бывает трудно плакать. То есть плакать я могу, но собственные слезы вселяют в меня страх. Вильям относился к этому спокойно: когда я рыдала, он не пугался, как, возможно, испугался бы Дэвид, но с Дэвидом я и не плакала, как в первом браке, не захлебывалась рыданиями, точно малое дитя. Но с тех пор, как Дэвид умер, я иногда сажусь на пол в спальне, между кроватью и окном, и реву с полной и ужасающей беззаветностью детства. Я всегда переживаю — ведь я живу в многоквартирном доме, — что меня могут услышать. Я делаю это нечасто.

* * *

В семьдесят первый день рождения Вильяма я отправила ему эсэмэску: «С днем рождения, старичок». И через пару секунд у меня зазвонил телефон. Он набрал мне с работы. Я спросила: «Ну как ты, Вильям?» — и он ответил: «Не знаю». Мы поболтали о девочках — Крисси потихоньку оправлялась, — а потом он рассказал мне, что Эстель не купила ему подарок на день рождения, она ему утром призналась: мол, если он что-то

хочет, пусть сообщит ей, просто она закрутилась с Бриджет и со всем, что происходит. Тогда я спросила: «А что происходит с Бриджет?» И Вильям ответил, что у них в школе концерт и что Бриджет ненавидит флейту, а Эстель хочет, чтобы та ходила на занятия еще год, и, выслушав его, я почувствовала, что так и не поняла — как, возможно, и он сам, — что же происходит с Бриджет. Но вслух я сказала: «Ну не купила она подарок. Бывает. Вы женаты уже давно. А что бы ты вообще хотел получить?» А сама думала: «Вильям, давай уже быстрее, ты такой ребенок». Вот что я думала. «Господи, — думала я, — ты просто маленький ребенок».

Мы поговорили еще немного и попрощались.

* * *

Но было и другое.

Как-то раз, много лет назад, после выхода моей первой книги, я тогда еще была с Вильямом, меня пригласили на мероприятие в Вашингтоне, какое именно, уже не помню, помню только, что отправилась туда одна, — наверняка я очень боялась, как боялась любых мероприятий в ту первую пору, — но я это вот к чему: когда пришло время лететь обратно, погода испортилась, гроза все

не утихала, и ветер тоже, а людей в аэропорту становилось все больше, и в конце концов я устроилась на полу рядом с молодой парой из Коннектикута. Она была красивой и жесткой, он — милым, но молчаливым. Суть в том, что с каждым часом мне становилось все страшнее, и при любом удобном случае я звонила Вильяму из таксофона — у таксофонов была очередь, — и он пытался помочь мне найти ночлег; он звонил разным знакомым из Вашингтона, но они ничего не могли сделать, надо было просто переждать грозу, а мне было очень страшно. А у красивой женщины из Коннектикута имелся очень современный (по тогдашним меркам) мобильный телефон, и она достала его и прямо при мне позвонила на вокзал, и они с мужем решили ехать в Нью-Йорк на поезде, и я спросила, нельзя ли и мне с ними, и они сказали, что можно. В основном я хотела поехать с ними, потому что до смерти боялась ночевать одна в этом огромном, запруженном людьми аэропорту, и вскоре мы заказали такси и поехали на вокзал, и билеты еще не все были распроданы, и я села на поезд, и вот что мне запомнилось: разглядывая Нью-Джерси в лучах рассвета, я была так благодарна, что у меня есть дом, безмерно, безмерно благодар-

на, что еду домой, в Нью-Йорк, домой, к своему мужу и нашим девочкам. Никогда этого не забуду. Я любила их так сильно… Боже, как отчаянно я их любила.

Так что было и другое, да.

* * *

А потом с Вильямом случились те две вещи.

О первой я услышала в субботу, в конце мая. В тот день исполнился ровно год с тех пор, как Дэвид узнал о своей болезни, и, когда позвонил Вильям, я (дурочка) решила, что он звонит насчет годовщины, надо же, подумала я, как мило, что он запомнил число. «Ах, Пилли, — сказала я, — спасибо, что позвонил», а он мне: «В смысле?» И тогда я сказала, что сегодня первая годовщина Дэвидовой болезни, на что он ответил: «Боже, Люси, прости», а я ему: «Ничего страшного. Что ты хотел?» И он сказал: «Я лучше позвоню в другой день. Это подождет», так и сказал, правда. Но я ответила: «Да ладно тебе, в другой день. Выкладывай».

Оказалось, тем утром Вильям наконец зашел на сайт с родословными — тот самый, куда ему подарила подписку Эстель, — и непринужденно так, будто описывая интересный теннисный

матч, он сообщил мне, что узнал.

А узнал он следующее.

До него у Кэтрин уже был ребенок. От брака с Клайдом Траском, картофельным фермером из Мэна.

Это была девочка, на два года старше Вильяма, и звали ее Лоис Траск, а родилась маленькая Лоис в Хоултоне, штат Мэн, недалеко от местечка, где Кэтрин жила со своим первым мужем, с мужем — картофельным фермером Клайдом Траском. Согласно свидетельству о рождении, Кэтрин Коул Траск была ее матерью, а Клайд Траск был ее отцом. Когда Лоис стукнуло два года, Клайд Траск женился снова, все было документально подтверждено. Свидетельства о смерти Лоис Вильям не нашел, только свидетельство о браке от шестьдесят девятого года, в замужестве она стала Лоис Бубар — «Я проверил, ударение на “бу”», — сказал Вильям с усмешкой, — а также имена и фамилии ее детей и внуков. Ее муж умер пять лет назад.

Вильям спросил, что я об этом думаю, и буднично так добавил:

— Это все чушь, конечно, ни капли правды. На этих сайтах какие только утки не попада-

ются.

Я пересела в другое кресло. Затем попросила Вильяма еще раз мне все объяснить, я ничего не знала о сайтах с родословными. И он принялся объяснять, очень терпеливо, и — честное слово — я вся похолодела.

— Люси? — тихо сказал Вильям.

— Мне кажется, они не соврали, — сказала я.

— Нет, соврали, — настаивал он. — Господи, Люси. Кэтрин ни за что бы не бросила ребенка, и даже если бы бросила — а она этого не делала, — то кому-нибудь бы рассказала.

— Почему ты так уверен?

— Потому что такая у них работа — завлекать людей…

— У кого — у них?

— У этих кретинских сайтов.

Я закатила глаза, хотя он этого, конечно, не видел.

— Пилл, я тебя умоляю. Они не подделывают свидетельства о рождении. У Кэтрин была дочка!

— Я буду копать дальше, — спокойно ответил Вильям.

И повесил трубку.

— Дурак ты, — сказала я вслух. — У Кэтрин была дочка!

Поразительно. Но, если подумать, это кое-что объясняло.

* * *

В год перед свадьбой мы много времени проводили в квартире Вильяма. Я не жила там, но вообще-то все равно что жила. И мы были безумно счастливы. Я была безумно счастлива, и Вильям, я знаю, тоже. Я пыталась готовить, хотя почти ничего не знала о продуктах, Вильяма это озадачивало — что я так мало о них знаю, — но он был ко мне очень добр. А в гостиной у него стоял телевизор, что для меня было в диковинку, и каждый вечер мы смотрели шоу Джонни Карсона. Прежде я и не слышала о таком шоу, и каждый вечер мы смотрели его вместе, сидя на диване.

В тот год Вильям, помнится, читал мне вслух. Книжка была детская, но для детей постарше, в школе он ее любил — там рассказывалось о мальчике, который выдумал себе жизнь, — и каждый вечер, когда мы лежали в постели, он читал мне по нескольку страниц, и мое влечение просто лежало на мне сверху. Если, потушив свет, Вильям не тянулся ко мне — а он почти всегда тянулся, — то меня охватывали страх и ощущение

потери. Так сильно я его хотела.

Наша с Вильямом свадьба проходила в загородном клубе, в котором состояла его мать, и церемония была скромная, горстка друзей из колледжа и подруги его матери, и где-то за час до начала, когда я одевалась в комнатке наверху, — ни мои родители, ни брат с сестрой не приехали, они даже ничего не прислали и не написали с тех пор, как я сообщила им о свадьбе, — у меня появилось странное чувство, описать его очень трудно, будто все слегка не по-настоящему, и потом, когда я спустилась и встала рядом с Вильямом и мировым судьей и пришло время давать клятвы, я чуть не лишилась дара речи. И Вильям посмотрел на меня с невероятной любовью и добротой, как бы желая мне помочь. Но чувство никуда не ушло.

Когда мы повернулись к залу лицом, я увидела, что его мать восторженно хлопает в ладоши, и, возможно, — не знаю точно — в этот миг меня охватила тоска по моей матери, и, возможно, я тосковала по ней уже давно. Но чувство, которое я описала, по-прежнему не уходило, и на банкете я будто наблюдала за всем со стороны. Все казалось таким далеким, словно происходило с кем-то другим. Той ночью в гостинице я отда-

лась мужу не так охотно, как обычно, чувство все еще было со мной.

Правда в том, что с тех пор оно не покидало меня никогда.

Не покидало насовсем. Оно длилось весь наш брак — наползая и стихая, — это был просто кошмар. И я не могла описать его ни Вильяму, ни себе самой, но это был тихий ужас, который я носила в себе, и по ночам, в постели, я была с Вильямом уже не совсем такая, как прежде, и я старалась, чтобы он не замечал, но он, конечно же, замечал, и, вспоминая свое отчаяние в те ночи, до замужества, когда он ко мне не тянулся, я представляю, как он себя чувствовал в браке со мной, — он чувствовал себя униженным и растерянным. И ничего нельзя было сделать. И ничего не было сделано. Потому что говорить об этом я не могла, и Вильям стал уже не таким счастливым и начал закрываться во всяких мелочах, я это видела. И на фоне этого мы жили свою жизнь.

Когда родилась Крисси, мне было очень страшно, я понятия не имела, как ухаживать за младенцем, и тогда приехала Кэтрин и осталась с нами на две недели. «Идите, идите, — сказала она в один из первых дней. — Поужинайте где-нибудь». У меня отложилось в памяти, что,

принимая на себя заботу о Крисси — и о нас тоже, — она вела себя слегка агрессивно. Мы пошли в ресторан, но страх не отпускал меня, а после ужина Вильям, с самого рождения Крисси все больше помалкивавший, сказал: «Знаешь, Люси. Будь она мальчиком, я бы чувствовал себя спокойнее».

Внутри у меня что-то оборвалось, но я ничего не ответила.

Я никогда не забывала об этом. В тот миг я подумала: «Ну хотя бы он честен».

Но у нас были такие сюрпризы и разочарования, вот я к чему.

* * *

Кэтрин не шла у меня из головы. Не знаю почему, но я нутром чуяла, что у нее и правда была дочка. Я вспомнила, с каким видом она держала маленькую Крисси на руках; как я уже говорила, на первых порах Кэтрин взяла заботу о ней на себя. А потом я вспомнила, как в другие свои приезды, баюкая Крисси, Кэтрин смотрела на нее чуть ли не со страхом. Легко рассуждать об этом сейчас, но, думаю, память меня не обманывает. А с Беккой она была то заботлива, то до странности безучастна. Только представьте, что она

чувствовала, когда держала наших девочек на руках!

Я вспомнила, как мало она рассказывала о своем прошлом, просто невероятно мало; у нее был старший брат, которого она всегда называла непутевым, пренебрежительно качая головой, он погиб в аварии на железнодорожном переезде много лет назад. А рассказывая о своем муже — картофельном фермере, Кэтрин всегда принижала его, мол, человек он был «неприятный» и они друг друга не любили. Она вышла за него в восемнадцать; в колледж она поступила, лишь когда переехала в Массачусетс с отцом Вильяма, немецким военнопленным.

Что касается ее знакомства с Вильгельмом, так звали отца Вильяма (хотя, переехав в Америку насовсем, он стал Вильямом), эту историю мы знали хорошо. Вильгельм был одним из двенадцати военнопленных, работавших на ферме Траска, их поселили в бараках рядом с аэропортом Хоултона и каждый день привозили в поле на грузовике. И как-то раз, через месяц после их приезда, Кэтрин отнесла им пончики, которые приготовила сама, она отнесла им пончики к обеду, ели они у картофельного склада; по словам Кэтрин, их недокармливали, а еще, по словам

Кэтрин, Вильгельм так посмотрел на нее, что ее бросило в дрожь.

Но безумно, до беспамятства, Кэтрин влюбилась в Вильгельма в другую их встречу. У картофельного фермера Клайда Траска в гостиной стояло пианино — по-видимому, на нем играла его мать, она умерла незадолго до их свадьбы. Пианино стояло без дела, старая такая модель. И, по словам Кэтрин, как-то раз, когда ее мужа не было дома — он уехал в Огасту, на внеочередную сессию законодательного собрания, — на пороге показался Вильгельм. Кэтрин испугалась, но Вильгельм улыбнулся; на голове у него была кепка, он снял ее, а затем прошел в гостиную, сел за пианино и начал играть.

Вот тогда-то Кэтрин и влюбилась в него — лихорадочно, без оглядки. По ее словам, ничего красивее той мелодии она в жизни не слышала; стояло лето, и окошко было приотворено, и занавеску тормошил ветерок, и Вильгельм сидел за пианино и играл. Играл он Брамса, это она узнала уже потом. Играл и играл, лишь разок-другой бросил на нее взгляд. А потом встал, слегка поклонился — он был высокий, со светло-русыми волосами, — прошел мимо нее к выходу и направился обратно в поле. Она смотрела на него

из окна: рукава рубашки туго обтягивали его сильные руки, на спине у него были большие черные буквы В и П, и на нем были старые штаны, какие носили военнопленные, и ботинки, и она провожала его взглядом, а он все удалялся, высокий мужчина с прямой спиной, и один раз он обернулся, лишь на миг, и улыбнулся, хотя с такого расстояния не мог ее видеть, ведь она стояла за занавеской.

Когда Кэтрин рассказывала эту историю, взгляд ее затуманивался, она видела все как наяву: мужчина, переступивший порог ее дома, и снявший кепку, и севший за пианино, и начавший играть. «Так и закрутилось, — говорила она, возвращаясь к нам. — Так и закрутилось».

Как они устраивали свидания, я не знаю, она не рассказывала. Но Вильгельм немного говорил по-английски — для немецкого военнопленного, дала нам понять Кэтрин, это было необычно. Зато она рассказала нам о том дне, когда ушла от картофельного фермера. Это было через год после их с Вильгельмом последней встречи; когда война закончилась, Вильгельма сначала на шесть месяцев по репарации отправили в Англию — устранять ущерб, нанесенный за время войны, — а затем он вернулся в Германию. Они пере-

писывались. Не знаю, догадывался ли об этом муж — картофельный фермер, но Кэтрин как-то сказала мне, что каждый день ходила на почту проверить, не пришло ли от Вильгельма письмо, и что служащий этого маленького почтового отделения в Мэне поглядывал на нее с подозрением — так она сказала. А еще она сказала, что последнее ее письмо — ответ на сообщение Вильгельма, что он теперь в Массачусетсе, в нем Кэтрин писала, что ее поезд прибудет в Бостон на станцию «Северная» в пять часов утра такого-то дня; дело было в ноябре, и земля почти на фут была покрыта снегом, — словом, принеся на почту это последнее письмо, она боялась, что служащий его не отправит. Но он обязан его отправить, рассуждала Кэтрин, и, очевидно, он это сделал. Она рассказала нам, что дождалась, пока к мужу приедет в гости сестра, ей не хотелось оставлять картофельного фермера одного. Меня всегда это поражало.

В остальном я почти ничего не знала о Кэтрин. Когда я спрашивала, каким было ее детство, она просто качала головой. «Ой, не очень, — сказала она как-то. — Но ничего». В Мэн она больше не возвращалась.

* * *

Выждав недельку, я позвонила Вильяму на работу, но разговаривал он со мной неохотно. Я спросила: «Что еще ты узнал?» И он ответил: «Люси, это все полная фигня. Нечего там узнавать». Тогда я спросила, что думает Эстель, а он мне: «О чем?» «О том, что у твоей матери был еще один ребенок», — сказала я, на что он мне ответил: «Люси, мы не можем утверждать, что у нее был еще один ребенок», а я все равно спросила, что думает Эстель, и после паузы он сказал: «Она признаёт, что никакого ребенка не было».

Повесив трубку, я поняла, что Вильям соврал. О чем именно, я не знала. Но было в его голосе что-то лживое, так мне показалось. Я решила больше не звонить ему по этому поводу.

Боже, как я скучала по Дэвиду! Я ужасно по нему скучала. Просто невероятно скучала я по нему. Он знал, как я люблю тюльпаны, и всегда — всегда — приносил тюльпаны домой, даже если был не сезон, он ходил в цветочную лавку и приносил мне тюльпаны.

* * *

В детстве, если кто-то из нас врал — я, или брат, или сестра — и даже если мы не врали, но родители нам не верили, нам мыли рот с мылом. Это далеко не худшее, что происходило с нами в том доме, так что я об этом расскажу. Провинившийся ложился на пол в тесной гостиной — допустим, это была моя сестра Вики, — а двум другим детям, в данном случае мне и моему брату, было велено держать ее за руки и за ноги. Мать шла на кухню и брала полотенце для посуды, затем она шла в ванную и намыливала полотенце, затем Вики высовывала язык, и мать пихала полотенце ей в рот и возюкала там, пока Вики не начинала давиться.

С возрастом я оценила всю невольную гениальность этого приема — сделать остальных детей соучастниками наказания; это разобщало нас, как разобщало нас все, что происходило в том доме.

Когда наступал мой черед ложиться на пол, я не сопротивлялась, как мой бедный брат — его в такие минуты охватывал ужас — или моя бедная сестра — ее в такие минуты охватывала ярость. Я лежала на полу с закрытыми глазами.

* * *

Пожалуйста, постарайтесь понять.

Я всегда считала, что если взять карту мира и воткнуть туда по булавочке за каждого человека на земле, то для меня булавочки не найдется.

Я чувствую себя невидимкой, вот что я имею в виду. На глубинном уровне. Объяснить это очень трудно. Я не могу это объяснить, разве что… Нет, я просто не нахожу слов! Меня будто не существует — пожалуй, можно сказать так. Меня будто нет на свете, вот. Возможно, все дело в том, что в доме, где я выросла, не было зеркал, только одно крохотное зеркальце высоко над раковиной в ванной. Я и сама не знаю, что хочу сказать, но на каком-то фундаментальном уровне я чувствую себя невидимкой.

Супруги, позволившие мне ехать с ними в Нью-Йорк на поезде, когда я застряла в вашингтонском аэропорту, увидели потом мою фотографию в газете и пришли на презентацию моей книги в Коннектикуте. Жена была само очарование, она была со мной очень приветлива, куда приветливее, чем тогда в аэропорту, а все потому — как мне кажется, — что в ее глазах я стала важной персоной. Тогда, в аэропорту, я была

всего лишь напуганной женщиной, увязавшейся за ними. Никогда не забуду, как она вела себя со мной на презентации. Моя книга имела успех, и в библиотеке было полно народу. Видно, это ее впечатлило. Но вот чего она никак не могла знать: даже стоя перед полным залом, читая отрывок из своей книги и отвечая на вопросы, я по-прежнему — необъяснимо — ощущала себя невидимкой.

* * *

Каждый год Вильям и Эстель снимали домик в Монтоке, это в самой восточной точке Лонг-Айленда, и проводили там июль и август.

После смерти Кэтрин мы с Вильямом и девочками несколько лет подряд ездили в Монток на неделю в августе; мы останавливались в небольшом отеле и по узкой тропке среди высокой травы ходили на пляж. Мы расстилали на песке пляжные полотенца и устанавливали зонт. Мне нравился пляж, я обожала океан, я смотрела на него и думала, как же он похож на озеро Мичиган и в то же время совсем не похож. Это же океан! Хотя, если честно, те наши поездки вызывают у меня смешанные чувства.

Вильяму очень нравилось в Монтоке, но у меня осталось в памяти, что там он вроде как отдалялся от меня — и от девочек тоже. Раз, когда они были еще маленькие, нам пришлось очень долго ждать, пока Вильям расправится с огромной тарелкой моллюсков на пару. Он снимал черную кожицу с их длинных сифонов и макал их в чашку с серой водой; ел он молча, и девочки все извелись, стали забираться ко мне на колени и ходить по залу, мимо чужих столиков. «Подождите на улице», — сказал Вильям, и я увела их на улицу. И все равно мы прождали целую вечность. А как-то раз, когда мы ехали из Монтока домой, Вильям за всю дорогу не сказал мне ни слова.

После развода я ни разу не бывала в Монтоке.

* * *

Но.

Вильям и Эстель снимали там дом. Бриджет отправляли в лагерь в Западном Массачусетсе — судя по всему, ей там очень нравилось, — а Вильям несколько раз в неделю наведывался в город поработать в лаборатории. Эстель оставалась в Монтоке, и по выходным у них бывало много гостей. Я знаю это, потому что Крисси

и Бекка не раз приезжали к ним на пару дней, иногда вместе, иногда поодиночке. Бекка рассказывала, что в их доме много панорамных окон, а Крисси рассказывала, что их гости ужасные зануды. «Из театра, наверное» — так она сказала. Но Крисси работает юристом в Союзе защиты гражданских свобод, а ее муж занят в финансах. Обе девочки рассказывали, как много Эстель готовит, и от этого на меня накатывала усталость; я никогда не любила готовить.

* * *

А вот вторая вещь, случившаяся с Вильямом.

Как-то в четверг, в начале июля, Вильям позвонил мне и сказал:

— Люси, можешь зайти?

— Куда? — спросила я.

— Ко мне домой.

— Я думала, ты в Монтоке, — сказала я. — Все нормально?

— Приходи скорей. Сможешь? Пожалуйста!

И вот я вышла на улицу — день был жаркий, из тех дней, когда ходить по Нью-Йорку пешком тяжело, такое тут пекло, — села в такси и поехала к Вильяму на Риверсайд-драйв.

При виде меня швейцар сказал:

— Поднимайтесь, он вас ждет.

В лифте я очень волновалась; я волновалась всю дорогу от дома, но из-за слов швейцара стала волноваться еще сильнее. Выйдя из лифта, я прошла по коридору, остановилась перед дверью в квартиру Вильяма и постучала, и когда он крикнул: «Открыто!» — я заглянула внутрь.

Вильям сидел на полу перед диваном — рубашка мятая, джинсы в чем-то испачканы. Он был без обуви, в одних носках.

— Люси, — сказал он. — Люси, просто не верится.

Сначала я подумала, что их ограбили, в квартире как будто много чего не хватало.

Но вот что произошло.

Вильям отправился в Сан-Франциско на конференцию. Ему с самого начала показалось, что доклад у него вышел слабый и зал это знает, вопросов и комментариев почти не было. После, на фуршете, старые знакомые были с ним любезны, но лишь один упомянул его доклад, да и то, как показалось Вильяму, скорее из вежливости. В самолете он размышлял о своей карьере и пришел к выводу, что карьера его, по сути, окончена.

Когда Вильям зашел в вестибюль своего до-

ма — это было в субботу после обеда, — швейцар посмотрел на него чрезвычайно серьезно. «Здравствуйте, мистер Герхардт», — сказал швейцар и кивнул. Вильям это заметил. Но Вильям сказал лишь: «Добрый день». Он не знал всех швейцаров по именам, хотя прожил в этом доме почти пятнадцать лет; как зовут этого конкретного швейцара, Вильям не помнил. Открыв ключом дверь, он сразу заметил, что квартира выглядит иначе, в ней стало как-то просторнее, и сперва он (как и я) подумал, что их ограбили. На полу — он чуть не наступил на нее — лежала бумажка, записка от Эстель. Не двигаясь с места, Вильям протянул ее мне и добавил:

— Хочешь, оставь себе.

Я села на диван и прочитала записку. Там было сказано (я действительно оставила ее себе):

> Дорогой, мне очень жаль, что приходится делать это именно так! Мне и правда жаль, дорогой.
>
> В общем, я съехала… Сейчас я в Монтоке, но у меня уже есть квартира в Виллидже. С Бриджет можешь видеться в любое время. Об алиментах не беспокойся, я всем обеспечена. Мне правда

жаль, Вильям. В этом нет твоей вины (хотя ты часто бываешь недосягаемым). Но ты хороший человек. Просто иногда ты так далеко. Не иногда, а часто. Прости, что не предупредила, вот я трусиха!

С любовью,

***Эстель***

Я сидела на диване и долгое время не произносила ни слова, лишь озиралась по сторонам. Я не знала, что именно исчезло, но в комнате ощущалась глухая пустота, а солнце, светившее в окно, только подбавляло жути. Наконец я поняла: нет бордового кресла. А затем я увидела большую вазу на каминной полке.

— Да, мой подарок на Рождество, она его не взяла, — сказал Вильям, проследив за моим взглядом.

— Боже, — сказала я. Мы долго молчали. И тут я вдруг поняла, что, не считая половика в дальнем углу гостиной, из квартиры пропали все ковры, отчасти из-за этого она и выглядела так сиротливо. — Постой, — сказала я. — Она забрала ковры?

Вильям лишь кивнул.

— Боже, — тихо сказала я. — Боже правый.

И тогда Вильям сказал (он по-прежнему сидел на полу, вытянув вперед длинные ноги в грязных носках):

— Знаешь, что пугает меня больше всего? Чувство нереальности. Прошло уже пять дней, а мне по-прежнему кажется, что это все не по-настоящему. Но все по-настоящему. И это-то меня и пугает. Чувство нереальности, я имею в виду.

Повисла пауза.

— Ты загляни в спальни, — продолжал он. — Одежда Эстель пропала, и почти вся одежда Бриджет, и мебель в комнате Бриджет. И на кухне нет половины вещей.

Вильям поднял голову, и глаза у него были почти мертвые.

Он сказал, что последние пять дней на него волнами накатывает изнеможение. Он спит без снов, часто по двенадцать часов подряд, вставая лишь по нужде, потом его снова окутывает туман усталости.

— Я никак, никак такого не ожидал, — добавил он.

Я погладила его по плечу и тихо сказала:

— Ах, Пилли. — И снова обвела комнату взглядом. Ваза была стеклянная, с цветными вкраплениями. — Господи боже, — сказала я.

Мы еще долго сидели так, я на диване, Вильям на полу, затем он сложил руки у меня на коленях и уткнулся в них лицом. Я подумала: «Это меня убьет». И погладила его пышные белые волосы.

— Я правда часто бываю недосягаемым? — Он взглянул на меня красными и как будто уже не такими крупными глазами. — Как тебе кажется?

— Не знаю, можно ли тебя назвать более недосягаемым, чем все мы, — сказала я, потому что ничего утешительнее придумать не могла.

Вильям сел рядом со мной на диван.

— Если даже ты не знаешь, кто вообще тогда знает? — попытался пошутить он.

— Никто.

— Ох, Люси… — Он взял меня за руку, и так мы сидели еще некоторое время. И порой он качал головой и бормотал: — Боже правый.

Наконец я сказала:

— Пилл, у тебя есть деньги. Уезжай отсюда. Поживи в хорошем отеле, пока не уладишь дела с квартирой.

И, что интересно, он ответил:

— Не хочу я в отель. Здесь мой дом.

Меня удивило, что он считает эту квартиру своим домом. Ну конечно, это его дом, напом-

нила я себе. Он живет здесь уже много лет. Он сотни раз с женой и дочерью ел за этими деревянными столами, принимал здесь душ, читал новости, смотрел телевизор. А я до сих пор нигде не чувствовала себя как дома. Никогда. Кроме как с Вильямом много лет назад. Я уже рассказывала вам об этом.

Я осталась с ним до вечера. По его настоянию я заглянула в спальню, а потом в комнату Бриджет, и все было как он описал. Синее стеганое одеяло комком лежало посреди постели, одеяло она не взяла. На полу в комнате Бриджет валялись хлопья пыли — вероятно, из-под кровати, которую тоже вынесли.

— А где будет спать Бриджет, когда станет тебя навещать? — спросила я, вернувшись в гостиную, и Вильям удивленно ответил:

— Об этом я не подумал. Придется купить ей новую кровать.

— И письменный стол, — сказала я. А затем добавила: — Прими-ка ты душ, и пойдем поужинаем.

И он побрел в душ, а когда вернулся — в свежей рубашке, вытирая белые волосы полотенцем, — выглядел уже куда лучше.

* * *

За ужином мы разговаривали о многих вещах. Мы пошли в старый уютный ресторанчик и сели за дальний столик, в середине лета легко найти свободный столик, и мы сидели и разговаривали. Но мне было больно. Мне было больно за этого человека — моего бывшего мужа. Мы долго разговаривали об Эстель и Бриджет, а потом — уже не так долго — о наших девочках; Вильям сказал, что сам сообщит им об уходе Эстель, и я сказала: «Конечно».

Затем, взяв ломтик хлеба, он произнес:

— У Кэтрин до меня была дочка.

— Я знаю, — ответила я.

Проведя кое-какие изыскания — еще до конференции, — Вильям выяснил, что его мать забеременела через несколько месяцев после того, как его отца отправили в Англию.

— Так что девочке, — Вильям все посчитал, установил все даты, — было около года. Она только делала первые шаги, Люси, когда моя мать просто взяла и упорхнула из дома.

Он взглянул на меня, и в лице его была боль. Это разбило мне сердце, и я смутно почувствовала, что в глазах Вильяма мать предала его, как

предали его две жены.

— Но отец, Клайд Траск, через год он женился снова, — продолжал Вильям. — На некой Мэрилин Смит. — Фамилию он произнес с пренебрежением. — Они прожили в браке пятьдесят лет. У них родились сыновья.

Я легонько сжала его ладонь:

— Пилли, мы во всем разберемся. Мы со всем справимся, не переживай.

— Это скорее по твоей части, — сказал Вильям.

— Ты шутишь? Я ни с чем не могу справиться! — сказала я.

— Люси, — сказал он. — Ты справляешься со всем.

* * *

В такси по дороге домой мне пришло в голову, что я ушла от Вильяма почти так же — хоть и не совсем без предупреждения. И, не считая стопки одежды, я ничего с собой не брала. Но я давно говорила ему, что хочу съехать. Давно говорила, что, живя с ним под одной крышей, чувствую себя птицей в тесной коробочке. Он не понимал, что я пытаюсь этим сказать, и я его не виню. Я сняла квартиру всего в паре кварталов от нашего тогдашнего дома в Бруклине.

С переездом я тянула почти год, но однажды, в понедельник, когда Вильям ушел на работу, я позвонила в магазин матрасов, и через два часа в мою крохотную квартирку доставили матрас, и я подумала: «Боже, Люси». А может, я ничего не подумала. Мне было безумно страшно. Так вот, я сложила кое-какие вещи в мусорный мешок и отнесла их в новую квартиру, а потом купила сковородку в аптеке и еще тарелку с вилкой. А потом позвонила Вильяму и сказала, что съехала.

Никогда не забуду его голос в трубке. «Правда? — тихо сказал он. — Ты правда съехала?»

Сидя в такси, я подумала: «Великодушно с его стороны не напоминать мне об этом сегодня».

Потом я стала размышлять об Эстель, о том, что она (предположительно) не решилась бы на такой шаг, не будь у нее связи на стороне. Я не говорила об этом Вильяму. Кто бы это мог быть, гадала я, уж не тот ли мужчина из театра, которому она сказала: «Умираешь со скуки?» Меня злость брала, когда я о ней думала. «Господи, — сказала я про себя. — На дух тебя не переношу». Она обидела Вильяма, и поэтому я ее на дух не переносила.

О Кэтрин я тогда особенно не задумывалась.

Меня больше беспокоило, как там Вильям в пустой квартире. А впрочем, к беспокойству за Вильяма примешивалась и некоторая неприязнь по отношению к Кэтрин.

* * *

Когда я узнала об интрижках Вильяма — у него их было несколько, — наши девочки уже спали, они тогда были подростками, близилась полночь, и сперва он выдавал сведения маленькими порциями, а затем большими. За два дня до этого, проверяя карманы его рубашки перед химчисткой, я нашла там чек; это был счет за ужин на двоих — так я решила, исходя из суммы, — чек был из ресторана в Виллидже, за тот день, когда Вильям поздно вернулся с работы. Я со страхом показала ему чек и спросила про ресторан. Он (как мне показалось) опешил, но затем сказал, что у его коллеги случились неприятности и он повел ее ужинать. Почему он не упоминал об этом? Не помню, что он ответил, но ему удалось развеять мои сомнения — почти. (Уже несколько лет мне снилось, что Вильям мне изменяет, и всякий раз, когда я рассказывала ему об этом, он ласково успокаивал меня и говорил: «И откуда у тебя только такие сны?») Но два дня спустя у нас

были гости, супружеская пара, и я поднялась с женой на крышу, ей хотелось покурить, и там она рассказала, что у нее в Лос-Анджелесе есть любовник. «Секс великолепный, — сказала она и затянулась. — Секс просто волшебный».

И, когда она сказала это, я поняла. Насчет Вильяма. Не знаю, почему именно в тот момент, но я все поняла, и когда мы вернулись в квартиру и я взглянула на Вильяма, думаю, он прочел это у меня на лице, и мы подождали, пока гости уйдут и пока девочки лягут спать, и тогда я передала ему слова той женщины, и немного погодя он сознался. Сначала в одной связи, потом еще в нескольких. Кажется, особенно дорога ему была женщина с работы, хоть он и говорил, что никого из них не любит. Но про Джоанну он не рассказывал еще три месяца. А когда рассказал, я думала, что умру. Я и так думала, что умру, когда слушала про других женщин. Но эта женщина, Джоанна, много раз бывала в нашем доме, как-то летом, когда я лежала в больнице, она водила ко мне наших девочек, она была не только другом моего мужа, но и моим тоже.

Во мне надломился стебель тюльпана. Вот что я почувствовала. И так и не сросся.

После этого я начала писать более правдиво.

* * *

— Мам! — воскликнула Бекка в трубку, когда я шла в аптеку на следующий день. — Мам, это какой-то ужас!

Я сразу поняла, что Вильям рассказал ей про Эстель.

— И не говори, — ответила я. На тротуаре стояла скамейка, и я на нее села.

— Это какой-то ужас, — повторила Бекка. — Ну как так можно? Мам!

— И не говори, солнышко. — Мимо ходили люди, и я смотрела на них сквозь солнечные очки невидящим взглядом. Затем у меня завибрировал телефон, это звонила Крисси. — Крисси звонит, — сказала я. — Подожди минутку.

Я нажала на зеленый круг, и раздался голос Крисси:

— Мам, поверить не могу! Просто поверить не могу!

— И не говори.

Так и продолжалось: девочки наперебой возмущались, а я спокойно беседовала с ними, и, когда они обе спросили, что теперь будет с папой, я ска-

зала, что он придет в норму. Я произнесла это как можно увереннее, потому что сама не была уверена, — а впрочем, что еще ему оставалось делать, что еще остается делать большинству из нас?

— Он не так уж стар, — сказала я им. — У него крепкое здоровье, все у него наладится.

Не прошло и недели, как Крисси заказала в комнату Бриджет кровать и письменный стол, а еще она купила новые ковры.

— Они гораздо красивее, — сказала Крисси. — Тут сразу стало повеселей.

Какая она замечательная, наша Крисси. Умеет быть за главную.

Еще через три недели она позвонила и сказала:

— Мам, мы устраиваем ужин у папы дома. Мы хотим, чтобы ты пришла.

* * *

Тут надо кое-что пояснить — знаю, я обещала не упоминать больше о Дэвиде, но мне кажется, вы должны знать.

Я говорила, что Вильям был моим единственным домом, и это правда. Дэвид — как я уже рассказывала — рос в бедности, в общине хасид-

ских евреев в Чикаго. Но в девятнадцать лет он покинул свою общину, и его подвергли остракизму, и он почти сорок лет не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра. А знать вам нужно вот что: нас с Дэвидом объединяло то, что нас обоих воспитывали в отрыве от культуры внешнего мира. У нас обоих не было в детстве телевизора. У нас было лишь расплывчатое представление о войне во Вьетнаме, пока мы сами не изучили ее уже во взрослом возрасте, мы оба не знали песен времен нашего детства — потому что никогда их не слышали, мы ни разу не бывали в кино, пока не выросли, мы не знали самых обычных крылатых выражений. Трудно описать, каково это — расти в изоляции от мира. Поэтому мы стали друг другу домом. И все равно нам казалось (мы оба это чувствовали), будто мы — птицы, примостившиеся на телефонных проводах Нью-Йорка.

Но позвольте мне рассказать об этом человеке еще одну вещь!

Роста он был невысокого, а из-за детской травмы у него было искривление таза, поэтому он ходил медленно и сильно хромал. И для своего роста он был тучноват. Я хочу сказать, что внешне он был — ну практически — противоположно-

стью Вильяма. И, когда мы поженились, у меня не было на него такой реакции, как на Вильяма. Тело Дэвида всегда было для меня огромным утешением. Дэвид был для меня огромным утешением. Боже, каким утешением он для меня был.

* * *

Когда я пришла в гости к Вильяму, девочки были уже там, но без мужей, что меня удивило, и Бекка с улыбкой сказала: «Мы оставили их дома».

Квартира и правда выглядела гораздо лучше, я прошлась по комнатам и громко восхитилась всем, что сделала Крисси. (Ваза с каминной полки исчезла.) Вильям тоже выглядел лучше, но когда я чмокнула его в щеку, он потрепал меня по руке и тихонько вздохнул, как бы говоря, что согласился на это ради девочек — чтобы они видели, что у него все нормально. Девочки приготовили ужин, и мы уселись за круглым кухонным столом (его Эстель не забрала), и Вильям выпил два бокала красного вина, чего он почти никогда не делает, — я хочу сказать, он почти никогда не пьет. И вот что произошло.

На душе у меня стало невероятно легко. Мы все почувствовали эту легкость. Мы выпали из насто-

ящего, и нас отбросило в прежние времена, когда мы были семьей; в душе у меня царил покой, вот что я пытаюсь сказать. И у остальных тоже. Просто удивительно, до чего нам было легко. Я окинула взглядом их лица, и они светились особой радостью.

Мы вспоминали о старых друзьях нашей семьи, вспоминали, как Бекка целый год ходила с фиолетовыми прядками в волосах, когда была подростком. Мы рассказали историю, которую рассказывали уже тысячу раз, о том, как однажды летом Вильям остановил машину посреди дороги, потому что Крисси вся извертелась в детском кресле, — ей тогда было три — и ткнул в нее пальцем со словами: «Так, слушай сюда, ты начинаешь меня бесить», а она подалась вперед и ответила: «Нет, ты слушай сюда. Это ты начинаешь меня бесить». Мы обожали эту историю, и в конце я добавила, как добавляла всякий раз: «Мы с папой переглянулись, и он завел машину. Тогда-то мы и поняли, кто в этой семье главный». Крисси, уже совсем взрослая, разрумянилась от удовольствия. Мы вспоминали, как возили девочек в Диснейленд во Флориде и как Бекка до смерти испугалась Капитана Крюка, остановившегося во время парада и наставив-

шего на нее шпагу, и Крисси просто давилась со смеху.

— Да не испугалась я, — сказала Бекка, а мы все сказали ей:

— Нет, испугалась.

— Тебе было девять, — сказала Крисси, — а вела ты себя как трехлетка!

И Бекка смеялась до слез.

— Ей было восемь, — сказал Вильям. — Ей тогда было восемь.

Мы сидели на кухне, и смеялись, и были счастливы. А потом Бекка взглянула на часы и сказала: «Ой, мне надо идти…» — и внезапно погрустнела, и тогда Крисси сказала, что ей тоже надо идти; я посмотрела на Вильяма, а он на меня, и затем он сказал: «Ты тоже иди, Люси. — Он встал. — Все на выход, я сам уберу. Идите». И по его улыбке я поняла, что у него все наладится, и, думаю, девочки тоже это поняли, а когда мы вышли из кухни, Бекка вдруг обернулась и сказала: «Семейные объятья?» Мы с Вильямом переглянулись, и знаете, нам будто вонзили нож в сердце, ведь когда девочки были совсем маленькие, мы иногда говорили: «Семейные объятья?» — и вчетвером прижимались друг к другу. И теперь мы сделали это снова, только девочки были уже

совсем взрослые, Крисси выше меня, но мы обнялись, а потом я сказала: «Ну все, пойдемте», и мы вышли из квартиры и втроем поехали вниз на лифте, а когда оказались на улице, у Бекки в глазах стояли слезы, и я обняла ее одной рукой, и она немножко поплакала, Крисси же просто выглядела очень серьезной, и потом я сказала: «Вон такси подъехало, садитесь, девочки».

А пару минут спустя, уже сидя в своем такси, я тоже заплакала.

— Что с вами? — спросил таксист.

И я сказала, что потеряла мужа.

— Сочувствую, — сказал он, качая головой. — Очень вам сочувствую, — сказал он.

* * *

Еще кое-что о моей матери.

Я уже достаточно о ней писала и больше писать не хочу. Но для понимания этой истории нужно упомянуть кое-какие подробности. Вот они: на моей памяти мать никогда не прикасалась к нам, если только не хотела нас наказать. Ни разу на моей памяти она не говорила: «Люси, я тебя люблю». Когда я привезла Вильяма знакомиться с родителями, она сразу отвела меня

во двор и сказала: «Убери отсюда этого человека, он расстраивает твоего отца!» И мы уехали. Все из-за того, объяснила мать, что Вильям немец и, по мнению отца, у него немецкая внешность, и это возродило в отцовой памяти все ужасы войны. И мы с Вильямом сели в машину и уехали.

На обратном пути я рассказала Вильяму о некоторых вещах, происходивших со мной в том крошечном домике и чуть раньше — в гараже, Вильям всего этого не знал, и он молча слушал и смотрел на дорогу. В последующие годы я рассказала ему больше, он один знает обо всем, что происходило в том крошечном домике и в гараже, пока я росла.

Годы спустя, когда я попала в больницу с аппендицитом и после операции у меня начались осложнения, моя мать прилетела в Нью-Йорк — Вильям купил ей билет — и провела у моей постели пять ночей, и это было просто из ряда вон. Просто невероятно. Благодаря этому я поняла, что она меня любит. Но когда я скучала по ней и пыталась позвонить ей за счет вызываемого абонента, ни до этого случая, ни после она не принимала мои звонки. Она говорила оператору: «У этой девчонки теперь есть деньги, так пусть их и тратит». Но у меня тогда не было

денег, мы были молоды и еще не встали на ноги, и Вильям только недавно защитил диссертацию.

Но это все неважно.

Важно другое: пару лет спустя я приехала к матери, она умирала в больнице недалеко от Чикаго, я приехала к ней, и она велела мне уйти. И я ушла.

Долгое — долгое — время я верила, что она меня любит. Но когда заболел мой муж и потом, после его смерти, я начала сомневаться. Наверное, это все потому, что наша с Дэвидом любовь ощущалась во всем. Словом, когда я думаю о матери, у меня (порой) сжимается сердце.

Мой брат живет один в доме нашего детства. Моя сестра живет в соседнем городке, и мы с ними встретились как-то раз, не так уж давно, и сошлись на том, что у нашей матери было не все в порядке с головой.

Я разговариваю с братом и сестрой по телефону раз в неделю. Но долгие годы мы не общались вовсе.

Я говорю себе, что мать любила меня. Думаю, она любила меня по-своему, насколько ей это было доступно. Как выразилась та милейшая женщина, мой психиатр, «надежда не умирает».

* * *

После смерти отца Вильяма Кэтрин вступила в загородный клуб и увлеклась гольфом. Там у нее появились подруги, с которыми она играла каждую неделю. Она и Вильяма научила, хотя, когда мы познакомились в колледже, в гольф он не играл, то есть я никогда не видела и не слышала, чтобы он играл в гольф. Но стоило нам переехать обратно на восток, и он стал играть со своей матерью, и в первый раз, когда они отправились в клуб, я думала, это как теннис и они вернутся через час-другой. Их не было больше пяти часов, я так разозлилась — где они пропадали? Но они лишь посмеялись. «Люси, — сказали они, — в гольф играют долго».

Как-то раз — в год перед нашей свадьбой — Кэтрин наняла мне тренера по гольфу. Она отвела меня в магазин при клубе и купила мне юбку для гольфа, короткую, красного цвета, и еще она купила мне туфли для гольфа, и мне было не по себе, ой как не по себе. А затем «профи», как его называли, начал меня учить, и я чуть не расплакалась, так это было невыносимо. Я все равно старалась ударить по мячу, но получалось

у меня неважно, и, когда за мной пришла Кэтрин, думаю, она заметила мое отчаяние. Потому что, когда мы пошли в клуб обедать, она шепнула Вильяму: «Похоже, для нее это чересчур».

Близился мой день рождения, и Кэтрин спросила, что бы я хотела получить. Я сказала, что хотела бы подарочный сертификат в книжный магазин. Меня будоражила сама мысль о том, чтобы пойти в книжный и что-нибудь там купить. В день моего рождения она отвела меня в гараж и показала штуковину с клюшками для гольфа. Ее лицо так и сияло. «С днем рождения, — сказала она, хлопнув в ладоши. — Теперь у тебя есть свои клюшки».

Я больше никогда не играла в гольф.

Но Эстель в гольф играла; они с Вильямом вместе играли в Монтоке, а еще в Ларчмонте, когда навещали ее мать. И даже Джоанна играла в гольф, это всплыло у меня в памяти через несколько дней после ужина у Вильяма, когда я сидела в кресле и смотрела в окно.

* * *

Где-то через неделю я позвонила Вильяму про-

верить, как у него дела, и он сказал: «Нормально», и еще он сказал, что Бриджет приехала на пару дней погостить, и на этом мы попрощались. Ладно, подумала я, больше не буду ему звонить — он как будто от меня отмахнулся.

Но как-то вечером, пару недель спустя, — август был уже почти на исходе — он позвонил и сказал, что все думает об этой женщине, Лоис Бубар, его единоутробной сестре, и о том, чтобы с ней связаться. Мы стали обсуждать эту идею; Вильям хотел познакомиться с ней, потому что они родственники и уже не молоды, но с другой стороны — вдруг она его ненавидит? Она точно ненавидит его мать.

— Что мне делать, Люси? — спросил он. — Девочки знают?

— Я им не рассказывала, а ты?

— Нет, я думал, ты расскажешь.

— Я решила, это твое право.

— Ладно, — сказал он.

И повесил трубку.

Через пять минут он перезвонил:

— Люси, поехали со мной в Мэн!

Предложение меня удивило, я ничего не ответила.

— Ну же, Люси, — настаивал Вильям. — Давай

просто съездим в Мэн на пару деньков. На следующей неделе. Давай просто возьмем и съездим. Посмотрим, как выглядит место, где все произошло. Я знаю, где живет Лоис Бубар, давай просто посмотрим.

— Просто посмотрим? Я не совсем понимаю.

— Я тоже, — сказал он.

* * *

О поездках.

На отдых нас возила Кэтрин. Я про такой отдых, где люди загорают вокруг бассейна на Карибах. В первую поездку она взяла нас, когда мы были молодоженами. Она все организовала сама; мы втроем полетели на Каймановы острова. До этого я лишь раз летала на самолете — в последний год учебы в колледже. Я поверить не могла, что сижу в небе, но нужно было не подавать виду, и я старалась. Но это было невероятно.

Хорошо, что, когда мы отправились на Кайманы, у меня уже был этот перелет за плечами: я могла вести себя как все и чувствовать себя более-менее как все. Но когда мы сошли с трапа, на слепящее солнце, когда маленький автобус доставил нас в отель, меня охватил тихий ужас. Я понятия не имела — просто понятия не имела,

— что делать: как пользоваться ключом от номера, в чем спуститься к бассейну, как сидеть у воды (плавать я не умела). А все вокруг были такими искушенными, все вокруг в точности знали, что делать; господи, я просто оцепенела! Повсюду на шезлонгах были распростерты тела, намазанные чем-то жирным и блестящие на солнце. В воздух поднималась рука, и появлялась официантка в шортах и с хвостиком на затылке, чтобы принять заказ, — откуда все знали, что делать? Я уже говорила, что чувствую себя невидимкой, но в тот миг на моем невидимом лбу словно загорелась табличка: «Эта девушка ничего не знает». Ведь я и правда ничего не знала. А Вильям с матерью составили рядом шезлонги и устроились лицом к океану, затем Вильям обернулся посмотреть, где я, и помахал мне рукой. «Что с тобой, Люси?» — спросила Кэтрин, когда я подошла. На ней была широкополая холщовая шляпа. Ее солнечные очки смотрели на меня. Я сказала: «Ничего». Я сказала, что скоро вернусь. И пошла обратно в номер — только по пути заблудилась и долго бродила не в том крыле, — а добравшись наконец до номера, плакала и плакала. А они, наверное, даже и не догадывались.

Хотя, когда я вернулась (они по-прежнему ле-

жали на шезлонгах), Кэтрин была ко мне очень добра, и взяла меня за руку, и сказала: «Похоже, для тебя это чересчур».

Кэтрин жила в номере по соседству, и в обоих номерах были раздвижные стеклянные двери, открывавшиеся на маленькое патио, бежевая мебель и белые стены. Из нашего номера было слышно, как Кэтрин выходит на патио и заходит обратно, было слышно, как ездят стеклянные двери. Ночью, когда мы занимались любовью, я умоляла Вильяма быть потише — меня пугало, что через стенку от нас спит его мать. В крошечном домике, где я росла, из родительской спальни почти еженощно раздавались звуки, визгливые стоны моего отца, это было чудовищно. Я очень плохо спала в ту неделю на Каймановых островах.

В последующие годы я приглядывала за нашими девочками, сидя у бассейна, а Кэтрин с Вильямом лежали на шезлонгах и разговаривали. Как-то я спросила у Кэтрин: «В юности вы тоже отдыхали на таких курортах?» Она положила на грудь свой журнал и уставилась на океан. «Нет, ни разу», — ответила она. И снова взяла журнал.

Я ненавидела эти поездки. Все до единой.

Однажды, на День благодарения, — мы с Вильямом были женаты уже лет пять — мы полетели в Пуэрто-Рико, и тамошний отель оказался куда роскошнее, чем наш отель на Большом Каймане, территория была очень зеленая, с громадным бассейном, и стоял он прямо на берегу океана. Может, это все День благодарения, но я вдруг почувствовала, что жутко скучаю по родителям и даже по брату с сестрой.

И тогда я набрала четвертаков — выменяла у администратора втайне от Вильяма с Кэтрин — и пошла к таксофонам, они рядком висели в дальнем конце вестибюля за перегородками из красного дерева. И позвонила домой, трубку взял мой отец. Он очень удивился, и я его не виню — я редко звонила родителям.

Отец сказал:

— Мамы нет дома.

А я ему:

— Ничего, папуль, не вешай трубку.

А он мне, заботливо так:

— Люси, у тебя все хорошо?

И я сказала — точнее, выпалила, я сказала:

— Папуль, мы в Пуэрто-Рико с мамой Вильяма, и я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать

в таком месте!

Немного подумав, отец спросил:

— Там красиво?

И я сказала:

— Ну да, наверное.

И тогда он сказал:

— Я тоже не знаю, что тебе делать. Попробуй просто любоваться пейзажем.

Он сказал это мне в тот день. Мой отец.

Но я не могла любоваться пейзажем, слишком мне было тревожно. Надо было приглядывать за девочками в бассейне, они были совсем крохами, но им очень нравилось плескаться в воде, Кэтрин купила надувные круги, и девочки в них плавали. Иногда она забиралась к ним в бассейн и, показывая на меня пальцем, говорила: «Плывите к маме, плывите к маме!» И смеялась, и хлопала в ладоши. А потом вылезала из воды и шла на пляж читать книжку. Если Вильям был рядом или, еще лучше, с девочками в бассейне, мне было гораздо легче, я уже не чувствовала такой угрозы от людей на шезлонгах: руки ниспадают с подлокотников, глаза прикрыты от слепящего солнца. Но Вильям никогда не купался подолгу, и вскоре я снова оставалась с девочками одна — и мне становилось страшно.

В день отъезда, в аэропорту, девочки всегда капризничали, а Вильям (так мне запомнилось) подолгу молчал. В самолете я садилась между девочками и старалась их развлекать, хотя меня брала злость. Потому что, если одна из них плакала, соседи бросали на меня недовольные взгляды, а Вильям с Кэтрин сидели где-нибудь в другом ряду.

С тех пор я объездила полмира — мои книги выходят в разных странах, и зарубежные издательства приглашают меня на встречи с читателями, и еще меня зовут на фестивали, — словом, я побывала во многих местах и много летала первым классом, где тебе выдают маленький наборчик с зубной щеткой и пастой и маской для сна, через все это я проходила уже много раз.

Какая странная штука — жизнь.

* * *

В субботу мы с Беккой и Крисси встретились в «Блумингдейле», это наша давняя традиция. Мы покупаем замороженный йогурт на седьмом этаже, а потом гуляем по магазинам. Я уже писала об этом в одной из прошлых своих книг.

Так вот, когда мы встретились в «Блумингдей-

ле», Бекка воскликнула:

— Мам! Что за херня свалилась на папину голову? Сначала от него уходит жена, а теперь он узнаёт, что у него есть какая-то там сестра? Мам! — Она смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами.

— И не говори, — ответила я.

— Бедный папа, — серьезно сказала Крисси.

— Да уж, — сказала я.

Как хорошо, сказали девочки, что я поеду в Мэн вместе с ним.

Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна, и она ничего не говорила на этот счет — лишь когда мы зашли в секцию обуви, уже после йогурта, она сказала:

— Я пойду к специалисту, мам. Моложе я не становлюсь.

— Ясно, ну хорошо, — ответила я, и она взяла меня под руку.

В некоторых культурах мать накинулась бы на дочку с расспросами: «К какому специалисту? Мне сходить с тобой? Расскажи подробнее, что происходит?» Но я принадлежу к другой культуре, у меня пуританское воспитание, у моих родителей были пуританские корни — они этим гордились, — и у нас дома так не разговаривали.

У нас дома вообще мало разговаривали.

На прощанье я, по обыкновению, поцеловала девочек и, по обыкновению, ощутила боль расставания. Но на этот раз мое сердце болело чуточку сильнее.

— Удачи! Удачи! — кричали они с другой стороны улицы, спускаясь в подземку. — Звони и держи нас в курсе! Пока, мам! Пока, мам!

* * *

Раз уж я недавно упоминала о своем отце, скажу о нем кое-что еще. У него был жуткий посттравматический синдром. Он сражался на войне в Германии, и это очень отразилось на его психике. Он никогда не говорил о войне — о том, что он был на фронте, нам, вероятно, рассказала мать. Его посттравматический синдром (хотя в детстве я не знала, как это называется) выражался в такой сильной тревожности, что она приводила почти к непрерывному сексуальному возбуждению. Часто он ходил по дому…

Вдаваться в подробности я не стану.

Но я любила его, нашего отца.

Я его любила.

Наверное, я упомянула о папе, потому что, со-

бираясь в Мэн, думала об отце Вильяма. Как я уже говорила, он воевал на стороне нацистов. (А мой отец воевал против них.) Вильгельм и Кэтрин состояли в переписке, и, по словам Кэтрин, он писал ей из Германии, что ему «не нравятся те вещи, которые сделала его страна». Но ни одно из его писем не сохранилось — я хочу сказать, после смерти Кэтрин никаких писем мы с Вильямом не нашли, — так что, по сути, мы не знаем, что его отец думал о войне, если не считать одной их беседы, когда Вильяму было лет двенадцать и его отец сказал про Германию, что ему не нравится, какие вещи сделала его страна. Складывая в чемодан летнюю блузу, я размышляла: почему отец Вильяма вернулся в Америку? Только ради Кэтрин? Или, может, он хотел стать американцем? Его подобрали в окопах во Франции американские солдаты, и он думал, что его застрелят, но они этого не сделали. И он говорил — со слов Вильяма и Кэтрин, — что хотел бы найти этих людей и поблагодарить. Пожалуй, он вернулся и ради Кэтрин, и чтобы стать американцем. Пожалуй, и то и другое. Он поступил в Массачусетский технологический институт и, как я уже говорила, стал инженером.

Но я все думала о ночных страхах Вилья-

ма — о том, что ему чудились газовые камеры и крематории.

И я вспомнила, что, когда Вильяму досталось много денег от деда-немца, нажившегося на войне, Кэтрин об этом почти не упоминала. Хотя кое-что она все-таки сказала, лежа на своем мандариновом диване: «Это грязные деньги. Ему нужно отдать их на благотворительность».

Но Вильям не отдал деньги на благотворительность; он стал очень богат. Хотя, как я уже говорила, благотворительностью он занимается. Когда я спрашивала Вильяма про деньги — и что он планирует с ними делать, — он всегда закрывался. «Я оставлю их себе», — говорил он. Так он и поступил. Никогда этого не понимала, но, возможно, ему казалось, что ему что-то причитается. Не потому ли, что он в столь юном возрасте лишился отца? Люди, пережившие утрату, иногда подсознательно стремятся взять что-то взамен. Но деньги Вильям получил лишь много лет спустя — с другой стороны, чувство утраты не исчезает с годами. Но по-моему, Вильяму и правда казалось — и до сих пор кажется, — что ему что-то причитается.

Вильгельм никогда не возил Кэтрин в Германию. И оба они — не считая того раза, когда

Вильгельм отправился в Германию после войны, — не возвращались в места своего детства. В этом они были схожи.

Внезапно — складывая в чемодан ночную рубашку для поездки в Мэн — я поняла, из-за чего жизнь Вильяма, скажем так, сошла с рельсов: картины из Дахау, куда мы ездили много лет назад, не шли у него из головы. Все увиденное там глубоко его потрясло. И роль его отца в этом не давала ему покоя. Вселяла ужас. Подкашивала его.

Вот что я поняла.

Возможно, Вильям считал — если вообще позволял себе об этом думать, — что поездка в Дахау повлияла на него сильнее, чем любые другие события в его жизни, сильнее даже, чем смерть матери.

И все же именно после смерти матери — как мне кажется — он начал крутить с другими женщинами. И с Джоанной.

Я просто пыталась понять, кто такой Вильям. Я и раньше пыталась это понять. Много раз я пыталась.

* * *

И вот еще что.

Я не говорила девочкам про измены их отца. Я пообещала себе, что они об этом от меня не услышат. Так что я им не говорила, даже после того, как ушла от него, я не говорила про измены их отца.

А потом, как-то раз — не так уж давно, может, шесть или семь лет назад, — мы гуляли по «Блумингдейлу», девочки и я, а после зашли на бокал вина в ближайший ресторан. И, когда мы сели за столик, девочки переглянулись и Крисси спросила:

— Мам, папа изменял тебе, когда вы были женаты?

Долгое время я не отвечала, просто смотрела в их ясные глаза. Затем спросила:

— Вы готовы к этому разговору?

И они сказали, что готовы.

Тогда я сказала:

— Да, он мне изменял.

Бекка спросила:

— С Джоанной?

И я ответила:

— Да.

Затем я сказала — справедливости ради, — что незадолго до нашего разрыва тоже завела роман. Я посмотрела на своих девочек и объяснила, что я тогда влюбилась в писателя из Калифорнии и с ним у меня был роман. Я сказала, что у писателя была жена, затем добавила:

— И дети. Вот так я поступила. Вам следует знать.

Девочек это не удивило, а скорее заинтриговало — странно, да?

— Что было дальше? — спросила Крисси.

— Ну, его брак распался, но… Как бы сказать… Я знала, что мы не будем вместе, и так оно и вышло. Но после этого я уже не могла оставаться с вашим отцом.

Больше всего меня поразило, как мало их интересовали подробности. Крисси больше заботила Джоанна.

— Долго у них это было? — спросила она, и я ответила, что не знаю.

Бекка сказала:

— А мне она нравилась.

Крисси посмотрела на нее и сказала:

— Да ты ее обожала, — почти сердито, и тогда я сказала:

— Нет, ну а что, она же не знала.

Наступило молчание, потом Бекка покачала головой:

— Ничего не понимаю в этой жизни.

— Я тоже, — сказала я.

На прощанье мы с девочками обнялись и поцеловались, и они сказали, что любят меня. Эта беседа выбила меня из колеи, а девочек, похоже, не выбила. Так мне показалось.

Хотя кто знает, что чувствуют другие?

В аэропорту Ла-Гуардия я увидела Вильяма издалека, и я увидела, что его брюки хаки ему коротки. Это чуточку разбило мне сердце. На ногах у него были лоферы и синие носки, не темно-синие и не голубые, и они выглядывали на пару дюймов из-под штанин. Ах, Вильям, подумала я. Ах, Вильям…

Вид у него был измученный, под глазами темные круги. Он сказал: «Привет, Лютик» — и сел рядом со мной. У него был компактный чемоданчик на колесиках, коричневый с темными вставками. Кажется, дорогой. Вильям взглянул на мой ярко-фиолетовый чемодан:

— Серьезно?

— Ой, прекрати. Зато он никогда не теряется.

— Еще бы.

Вильям скрестил руки на груди, окинул взгля-

дом зал и спросил:

— Ты уже бывала в Мэне?

По ковролину, устилавшему пол в аэропорту, полз младенец, а следом шагала его мать, на груди у нее висела детская переноска, и она улыбнулась нам, и я заметила, что Вильям тоже ей улыбнулся.

— Один раз, — ответила я.

— Да?

— Меня пригласили в Ширли-Фоллз выступить перед студентами тамошнего колледжа. По-моему, я тебе уже рассказывала.

— Расскажи еще раз, — попросил он. Его взгляд скользил по залу.

— Не знаю, какая это была книга, может, третья. В общем, меня позвал туда заведующий английской кафедрой — сам он писал рассказы, — и я провела с ним весь день, слушая про его стареющую мать и про бесконечные хлопоты с ней. И, пока мы гуляли по кампусу, я не увидела ни одного объявления про встречу со мной. После ужина он отвел меня в лекционный зал, где было расставлено около сотни стульев. И там не было ни души.

Вильям обернулся ко мне:

— Да ты что!

— Представляешь? Такого со мной никогда не случалось. Мы сидели и ждали, и где-то полчаса спустя я пошла к себе в комнату, и он потом написал мне электронное письмо с извинениями — мол, он понятия не имеет, как такое произошло. И лишь потом я подумала: уж его-то группы могли прийти. Видно, он даже их не позвал. Я написала ему: «Ничего страшного».

— Господи, — сказал Вильям. — Что на него нашло?

— Даже не представляю.

— А я представляю. — Вильям посмотрел на меня почти сердито. — Он тебе завидовал.

— Думаешь? Ну не знаю.

Вильям вздохнул и медленно покачал головой, глядя, как младенец ползет по полу.

— И правда, откуда тебе знать, — сказал он. И потянул себя за усы. — Они тебе хоть заплатили?

— Конечно. То есть я не помню. Но что-то наверняка заплатили.

— Господи, Люси, — сказал Вильям.

* * *

В Бангор мы прибыли вечером, без четверти десять; самолет у нас был небольшой, попут-

чиков немного. Шагая по аэропорту, — в залах было как-то темно и жутковато — я повсюду замечала таблички, приветствующие ветеранов войны, и Вильям сказал, что читал об этом, раньше здесь была база ВВС, и поэтому тут такая длинная взлетно-посадочная полоса. Именно сюда прилетали многие военные, возвращаясь домой из-за границы. Отсюда они улетали, Бангор был их последней остановкой в Штатах. По словам Вильяма, когда шла война в Ираке, оттуда в Бангор прилетало столько военнослужащих, что жители Мэна придумали торжественно их встречать. В аэропорту был особый коридор, мы туда не ходили, но над ним большими буквами было написано: «ЗАЛ ПРИВЕТСТВИЙ». Он выглядел почти как музей. При виде него я вспомнила об отце. Возвращаясь из Германии, мой отец сначала плыл на корабле до Нью-Йорка, а потом добирался до Иллинойса на поезде. Но, может, отца Вильяма доставили в Мэн на самолете, когда он был военнопленным?

— Нет, — сказал Вильям. — Он прибыл в Бостон по морю, а там пересел на поезд. Я об этом читал.

Меня не покидало ощущение нереальности происходящего.

И тут я увидела мужчину, который (как мне показалось) собирался ночевать в аэропорту; он был не стар и не молод, у него с собой было много белых пакетов и ни одного чемодана, и он находился в той части аэропорта, где приглушили свет. Похоже, он заметил, что я на него смотрю; он перестал есть из большой пачки чипсов, лежавшей у него на коленях.

Наш отель примыкал к зданию аэропорта; надо было пройти по крытому переходу, и вы оказывались в вестибюле, который — хоть там и было два кресла — вовсе не походил на вестибюль. Пока Вильям нас регистрировал (отдельные номера), я разглядывала бар. На высоких деревянных стульях сидели мужчины и несколько женщин, все смотрели в экран телевизора над баром. Я подошла к барменше и спросила, нельзя ли мне бокал шардоне.

— Бар закрыт, — ответила она, даже не взглянув на меня. — Работаем до десяти. — Она полоскала бокалы под струей воды из-под крана.

— Ну пожалуйста, — попросила я; судя по часам на стене, не было еще и пяти минут одиннадцатого, и барменша с недовольным видом налила мне вина.

С бокалом в руке я покатила свой фиолетовый чемодан вслед за Вильямом — нас поселили по соседству, — и, когда я вошла к себе в номер, там было очень холодно, приборчик на стене показывал всего шестьдесят градусов[1]. Всю жизнь я ненавидела холод. Я выключила кондиционер, но было ясно, что комната прогреется еще не скоро. В ванной стояла маленькая (малюсенькая) бутылочка с полосканием для рта, а рядом лежала пластиковая мужская расческа в целлофане. Я не могла оторвать от нее глаз; именно такая расческа была у моего отца. Я много лет не видела таких расчесок, маленьких, пластиковых, согнешь ее — и она с хрустом сломается пополам. Я постучалась к Вильяму, и он впустил меня. «Господи», — пробормотал он. У него в номере тоже было холодно. Работал телевизор; когда я зашла, он выключил звук. Я села на краешек кровати; по телевизору показывали анонс «Истории коллекционирования пуговиц», а следом — рекламу лекарства от Альцгеймера.

— Какие у нас планы на завтра? — спросила я.

Позавтракаем мы в дороге; сперва мы отправимся в Хоултон, чтобы проехать мимо дома

**[1] Примечания: 1**

60 градусов по Фаренгейту равняются 15,5 градуса Цельсия. — Здесь и далее примеч. перев.

Лоис Бубар. Просто посмотреть. Она живет в доме номер четырнадцать по улице Любезной. Затем мы могли бы съездить в Форт-Фэрфилд, потому что в шестьдесят первом году Лоис стала там «Мисс Картофельный цветок», у Вильяма была фотография, где ее везут по улицам Форт-Фэрфилда, которую он взял из интернета. Он показал мне эту фотографию на айпэде, но она была такая старая, что я не могла понять, похожа ли Лоис (еще совсем юная) на Кэтрин. Но она была красивая, это я заметила. Она стояла на передвижной платформе, увешанной гофрированной бумагой, и на улицах было полно народу и старых машин и несколько автобусов.

— А потом, если останется время, я хочу съездить в Преск-Айл, — сказал Вильям. — Оттуда родом муж Лоис Бубар, и мы просто быстренько поглядим, как там все.

— Ладно, — сказала я. — Но зачем?

— Просто посмотреть.

— Ладно.

— Так что утром мы поедем по платной дороге в Хоултон и просто посмотрим, что там есть посмотреть, — подытожил Вильям. Он выглядел старым. Он стоял у кровати, и спина у него была сгорбленная, а глаза тусклые. — Спокойной ночи,

Люси, — сказал он, когда я собралась уходить.

Я обернулась:

— Как твои ночные страхи, Вильям?

Вильям развел руками:

— Исчезли. У меня жизнь стала хуже, вот они и прекратились, — добавил он.

— Понимаю, — сказала я. — Спокойной ночи.

Я позвонила администратору и попросила второе одеяло, и мне принесли его сорок пять минут спустя.

* * *

Той ночью мне снился Робби с Парк-авеню. Он был какой-то дерганый, а потом я проснулась и пошла в туалет, а потом снова легла и стала о нем думать.

Когда я ушла от Вильяма, у меня начался вроде как роман (я говорю не о писателе из Калифорнии, вроде как роман был позже) с мужчиной, которого я в разговорах с друзьями называла Робби с Парк-авеню. Мы познакомились в Новой школе[2], на курсе по Второй мировой, который я посещала, чтобы лучше понять отца, чтобы

**[2] Примечания: 2**

Новая школа — частный исследовательский университет в Нью-Йорке, основан в 1919 г.

узнать как можно больше про Арденнскую операцию и битву в Хюртгенском лесу, потому что мой отец участвовал в обоих сражениях и, как я уже говорила, это сильно его травмировало. Отец умер за год до того, как я записалась на курс.

Впервые я заговорила с Робби с Парк-авеню в лифте, и лишь потом меня осенило, что чем-то — возможно, выражением лица — он напоминает мне папу. Он действительно мне в отцы годился, хотя мой отец был старше него. Но Робби с Парк-авеню хорошо одевался, он был высокий и носил длинное синее пальто.

Когда я впервые побывала в его квартире на Парк-авеню, она показалась мне удивительно необжитой, и в каком-то смысле это и впрямь было так. Робби с Парк-авеню дважды был женат, а его последняя подружка ушла от него к пожарному — и этот факт, похоже, не давал ему покоя. «Пожарный, — говорил он и смеялся, а иногда качал головой. — Чертов пожарный. Видно, она просто устала от меня», — говорил он про свою бывшую подружку.

Мы занялись любовью, и он был со мной ласков, а потом вдруг выпалил: «Стреляю в мамочку! Стреляю в мамочку!» — и это до смерти меня перепугало. Мне пришлось принять две таблетки

успокоительного, которое я носила в сумочке, и после этого я уснула и всю ночь проспала, уткнувшись головой ему в грудь.

Каждый раз он произносил это.

Я оставалась у него по субботам три месяца.

* * *

Утром Вильям постучал ко мне в дверь; на нем снова были те короткие брюки хаки, и это вызвало во мне то же чувство, что и в аэропорту, но я плохо выспалась, а потому чувство было уже не таким сильным.

Вильям — прямо с порога — рассказал, что вчера, когда он лег спать, у него возникло странное ощущение, будто он держит на руках годовалую Бекку.

— Ее потное личико — помнишь, как она потела? — уткнулось мне в шею. Фух, Люси…

Он посмотрел на меня, и я почувствовала прилив нежности при виде боли на его лице.

— Ах, Пилли, — сказала я. — Как я тебя понимаю. Меня тоже иногда посещают очень яркие воспоминания.

Но тут я поняла, что он смотрит не на меня, а сквозь меня.

— Тебе удалось уснуть? — спросила я, и усы его

дрогнули, и лицо расплылось в улыбке.

— Да. Представляешь? Я спал точно младенец.

Он не спросил, как спалось мне самой, и я ничего не сказала.

Мы покатили чемоданы в контору аренды автомобилей и вскоре уже сидели в машине. День выдался солнечный и теплый, но не жаркий. Пустые парковочные места тянулись бесконечно долго. На выезде из аэропорта мы увидели две таблички, одну поверх другой: сверху — «Заботимся дальше», а снизу — «Ангел на дому» (крупная такая табличка с раскинувшим крылья желто-фиолетовым ангелом).

— Здесь много стариков, — сказал Вильям. — Это самый старый и самый белый штат в Америке.

На трассе почти не было машин. Сквозь бетон по краям дороги пробивалась трава. Мы проехали мимо знака ограничения скорости до семидесяти пяти миль в час. Я глядела в окно; у дороги показалось деревце с желтеющей кроной и рыжеватой верхушкой и еще одно с ярко-красной листвой. Трава на обочине была какая-то блеклая — очень августовская картина без сочной зелени. За травой росли высокие деревья.

И тут мне кое-что вспомнилось.

Все годы нашего с Вильямом брака я представляла нас — даже когда Кэтрин была жива и еще больше после ее смерти, — я часто втайне представляла нас Гензелем и Гретель, детьми, что заблудились в лесу и пытаются по крошкам найти дорогу домой.

Это как будто противоречит моим словам, что только с Вильямом я чувствовала себя как дома. Но у меня в голове оба этих утверждения верны и не отменяют друг друга. Не знаю почему, но это так. Наверное, потому, что с Гензелем — даже посреди леса — мне всегда было спокойно.

Вскоре я заметила, что во мне нарастает знакомое чувство, оно началось еще накануне, в аэропорту, когда мне показалось, что все вокруг чуточку нереально, будто это и не аэропорт вовсе. А заметила я вот что.

Мне было страшно.

Деревья за окном стали какими-то чахлыми, потом пошли густые сосны. Еще через пару минут слева показалась березовая рощица. Но больше на этой бесконечной дороге ничего не было. Ни указателей. Ни других машин — разве что одна-две проехали мимо.

Я уже рассказывала, как легко поддаюсь страху, и чем дальше мы катили по пустой платной дороге, тем больше я жалела, что согласилась на эту затею.

Я боюсь непривычного. В Нью-Йорке я прожила много лет, и все в нем привычно, моя квартира, мои друзья, швейцары, автобусы, вздыхающие на каждой остановке, мои девочки… Все это привычно. А там, где я оказалась теперь, все было непривычно, и это меня пугало.

Это очень меня пугало.

А Вильяму я рассказать не могла, я вдруг почувствовала, что недостаточно хорошо его знаю, чтобы ему рассказывать.

«Мамулечка, — кричала я в душе, — мамулечка, мне так страшно!»

И добрая мать, которую я однажды сама себе придумала, отвечала: «Я понимаю».

Мы ехали и ехали, и Вильям молча глядел на бесконечную дорогу, простиравшуюся впереди. Наконец он сказал:

— Может, позавтракаем?

Я кивнула. Он свернул на съезд. Я больше не смотрела в окно.

На парковке у входа в закусочную стояла за-

битая мусором машина, мы прошли мимо нее. Весь салон — кроме водительского кресла — был завален мусором. Хламом. Плесени я не заметила, но от пола до потолка — а это был старый седан — высились горы газет, вощеной бумаги и картонных упаковок из-под продуктов. На табличке с номером была большая буква В и надпись «Ветеран».

— Вильям, — тихо сказала я.

— Что?

— Ты это видел? — спросила я, а он мне:

— Такое трудно не заметить. — И, открыв дверь закусочной, прошел впереди меня, но у него — как мне показалось — был морозец в голосе, и паника моя возросла.

Ох уж эта паника!

Если у вас ее не бывает, вам не понять.

В закусочной сидело человек десять; внутри она напоминала бревенчатую хижину, стены там были из бревен, и официантки были очень милы. Девушка с ярко-красной помадой на губах проводила нас к столику с диванчиками, она была низенькая и чуточку полненькая и приветствовала нас очень радушно. Вильям стал

разглядывать меню, но у меня не было аппетита, и, когда вернулась официантка, я заказала болтунью из одного яйца, а Вильям — обычную яичницу и жареное мясо с картошкой.

За столиком напротив — точнее, наискосок — сидел беззубый мужчина, и с ним были еще двое, и беззубый объяснял им, что ему нужен паспорт.

— Вильям, — сказала я.

Он посмотрел на меня:

— Что такое?

Я прошептала:

— У меня паника.

И Вильям — как мне показалось — внутренне поник.

— Люси, ну с чего у тебя вдруг паника?

— Не знаю.

— Она случается у тебя до сих пор?

— Давно уже не было. Даже когда… — Я собиралась сказать: «Даже когда умер мой муж».

Скорбь и паника — разные вещи. Но я этого не сказала.

Честное слово, Вильям чуть не закатил глаза.

— И что мне прикажешь делать? — спросил он, и я его прямо возненавидела.

— Ничего, — ответила я.

Тогда Вильям сказал:

— Наверное, здешние края напоминают тебе о детстве.

— Они не напоминают мне о детстве. Ты хоть одно соевое поле видел?

Но стоило мне сказать это, и я тут же поняла, что он прав. За всю дорогу нам встретилось от силы несколько машин, и такая изолированность меня пугала.

— Ну, Люси. — Вильям откинулся на спинку диванчика. — Я не знаю, чем тебе помочь. Как ты помнишь, всего семь недель назад меня бросила жена.

— А у меня муж умер, — сказала я. И подумала: это соревнование?

— Я знаю, — ответил Вильям. — Но я не знаю, что делать с твоей паникой. Я никогда не знал, что делать с твоей паникой.

— Ну, мог бы хоть дверь подержать, а не ломиться первым, — сказала я. А затем добавила: — И раз уж на то пошло, мог бы носить брюки нормальной длины. Твои хаки такие короткие, что у меня от них депрессия. Господи, Вильям, да ты выглядишь как лопух.

Вильям выпрямился; он был искренне удивлен.

— Что, правда? Ты уверена? — Он вылез из-за

стола. — Нет, серьезно? — спросил он, разглядывая штанины.

— Да! — ответила я, и у него дрогнули усы.

Он сел на место, запрокинул голову и рассмеялся — настоящим смехом, какого я от него не слышала целую вечность.

И паника меня отпустила.

— Вы только послушайте, — сказал Вильям. — Люси Бартон говорит, что мне штаны коротки.

— Да, говорю. Нелепица жуткая.

Вильям снова рассмеялся.

— И называет меня лопухом. Да кто сейчас так выражается?

— Я выражаюсь, — сказала я, и это еще больше его рассмешило.

— Я недавно их купил. Я тоже себя спрашивал, не слишком ли они коротки.

— Слишком.

— Я их без обуви мерил.

— Все, забудь, — сказала я. — Отдай их нуждающимся.

И смех Вильяма поднял мне настроение. И после этого все пошло на лад.

Официантка принесла нам горы еды. У Вильяма на тарелке была груда красноватого мяса,

а сверху яичница, а поверх яичницы — жареная картошка и еще три щедрых ломтя хлеба. Мне досталась большая порция болтуньи, а еще жирный бекон и тоже три огромных ломтя хлеба. «Боже», — сказала я, а Вильям сказал: «Господи Иисусе».

— Слушай, так что нам делать с Лоис Бубар? — спросил Вильям. Он потыкал вилкой красноватое мясо и отправил кусочек в рот.

— На месте разберемся, — сказала я.

Мы немного поговорили о Лоис Бубар, и как она стала «Мисс Картофельный цветок», и знает ли она, что родная мать ее бросила. Вильям считал, что знает, а у меня были сомнения.

— Ну да, тут не угадаешь, — сказал Вильям. И покачал головой. — Боже правый, — добавил он.

Чуть позже к нам подошла официантка и предложила сложить остатки еды в контейнеры.

— Спасибо, не нужно, — сказал Вильям. — Мы уже наелись.

— Точно? — переспросила официантка. Она удивленно посмотрела на нас и поджала свои краснющие губы.

— Точно, — ответил Вильям, и тогда она сказала, что принесет нам счет. — Может, моя

родственница, — сказал Вильям. Он не шутил.

— Возможно, — сказала я.

Когда мы уходили, он театрально открыл передо мной дверь.

* * *

Отъехав от закусочной, мы увидели табличку «Бутик Либби. Ковры, ламинат, виниловые полы. ЗАКРЫТО». На выезде из города на телефонных столбах висели американские флаги, один за другим, и порой среди них мелькал черный флаг, символ военнопленных и пропавших без вести. Мы никак не могли отыскать въезд на трассу. Мы все колесили и колесили по переулкам, и в одном месте на обочине рос золотарник и короткие стебли рогоза, и трава там была с розоватым отливом, но только сверху, а снизу бурая и сухая. Ни машин, ни людей не было видно, и это в разгар дня, в среду, в конце августа. Зато готовых обрушиться домов — хоть отбавляй, со звездами на фасаде в честь ветеранов, с золотыми звездами в честь погибших.

Мы проезжали мимо табличек «Помолимся за Америку». И деревянных домиков христианского лагеря.

Чуть поодаль от дороги, возле заброшенной

постройки, валялась груда ржавых машин.

— Будь я маньяком, который хочет убить девушку и спрятать ее труп, я сделала бы это здесь, — сказала я. — Господи.

Вильям бросил на меня взгляд. Он улыбнулся — усы его дрогнули — и потрепал меня по коленке.

— Ох, Люси, — сказал он.

Но стоило мне заговорить об этом — о маньяке, который хочет избавиться от трупа, — и я кое-что вспомнила:

Дорога, и готовые обрушиться дома, и трава на обочине, и безлюдные улицы — все это навеяло мне такое почти воспоминание, как я еду с отцом в пикапе, на переднем сиденье, совсем маленькая; окно открыто, и ветер тормошит мои волосы, и кроме нас никого… Куда же мы едем? От воспоминания не веяло унынием моего детства. Наоборот, оно затронуло что-то в глубинах моей души, и я почувствовала почти — как бы это описать? — я почувствовала почти свободу, вспоминая, как ехала с отцом в его стареньком красном «шеви». Теперь, когда я ехала с Вильямом, мне почти захотелось обвести окрестности рукой и сказать: здесь живут мои люди. Но это не так; я никогда не чувствовала принадлеж-

ность ни к одной группе людей. И все же в этот момент, проезжая по сельскому Мэну, я обрела понимание — иначе не назовешь, — понимание людей в этих домах, в тех немногих домах, что встретились нам на пути. Странное ощущение, но вполне реальное: на миг я почувствовала, что понимаю, где я. И даже что люблю этих людей, которых мы не видели, живущих в этих домах с пикапами на подъездных дорожках. Вот что я почти почувствовала. Вот что я почувствовала.

Но я не стала говорить об этом Вильяму, выросшему в Ньютоне, Массачусетс, а не в бедном Эмгаше, Иллинойс, как я сама, — Вильяму, столько лет прожившему в Нью-Йорке. Я тоже много лет прожила в Нью-Йорке, но Вильям обжился там — эти его костюмы на заказ, — он обжился там, как, по-моему, не удалось обжиться мне. Так и не удалось.

* * *

И тут мне вспомнилась одна женщина, мы познакомились на вечеринке. Это была первая — и единственная — вечеринка, на которую я пошла после смерти Дэвида, и ничего приятного я от нее не ждала. Но там была одна женщина, моложе меня лет на десять, я бы дала ей

пятьдесят три, и она рассказала мне, что зарегистрировалась на сайте «Просто поговорить» и это изменило ее жизнь; она рассказывала это со всей прямотой, у нее тушь собралась комком в уголке глаза, и я все хотела сообщить ей об этом — хотя ни за что бы не осмелилась, — а потом я забыла про тушь и начала слушать, так меня увлек ее рассказ. Она только что вернулась из Чикаго, где встречалась с мужчиной в отеле «Дрейк», — это была третья их встреча — просто чтобы поговорить. Да, они просто разговаривали.

Я спросила, не страшно ли это — встречаться с незнакомым мужчиной; по ее словам, они были ровесники, и она сказала, что поначалу было страшно, но как только она его увидела (тут она коснулась моей руки), в голове у нее промелькнуло: «Боже, ему так одиноко!» «Прямо как мне», — добавила она и кивнула. Говорили они по очереди, ей нужно было поговорить о свекрови, та умерла много лет назад, но она (моя собеседница) ощущала «некоторую незаконченность», а мужчина, звали его Ник, хотел поговорить о сыне, тот всю жизнь был какой-то неправильный, а жена Ника была сыта по горло этими беседами, об этом он и говорил.

— И мы просто слушаем друг друга, — сказала

женщина. Затем глотнула минеральной воды из бокала — воды, не вина — и несколько раз кивнула. — Я даже не знаю, правда ли его зовут Ник, — добавила она.

Я спросила, не боится ли она влюбиться.

Она снова глотнула минеральной воды.

— Забавно, что вы об этом спрашиваете, ведь когда мы познакомились, я сказала себе: «Боже, нет, в такого я точно не влюблюсь!» Что только к лучшему, конечно. Но, знаете, с момента нашей последней встречи я все думаю о нем, и, знаете, есть в этом нотки…

— Привет! — К ней подошла молодая женщина и обняла ее, и моя собеседница воскликнула:

— Какими судьбами! — И больше в тот вечер мы не разговаривали.

Люди одиноки, вот я к чему. Многие не могут сказать близким то, что им, возможно, хочется сказать.

* * *

До Хоултона мы добрались к полудню. Под сияющим солнцем стояли большие кирпичные здания: суд, почтамт. На главной улице была горстка магазинов — мебельный, магазин одежды, — и мы медленно проехали мимо, а потом

я увидела табличку «Улица Любезная» и закричала: «Вильям, мы на улице Любезной!» Вдоль дороги тянулись маленькие деревянные дома, два дома подряд были выкрашены в белый цвет. А потом мы увидели номер четырнадцать, и это оказался самый красивый дом во всей округе. Он был совсем не маленький — трехэтажный, свежевыкрашенный, с синими стенами и красными ставнями, с садиком у крыльца и гамаком. Вильям не отрывал от него взгляда, но проехал мимо, а машину остановил лишь через квартал.

— Люси, — сказал он.

— Я видела, — сказала я.

Так мы сидели минуту-другую, и солнце светило в лобовое стекло, а потом, оглядевшись по сторонам, я заметила библиотеку.

— Давай зайдем в библиотеку, — сказала я.

— В библиотеку? — сказал Вильям.

— Ага.

* * *

Мы зашли в библиотеку, и внутри была винтовая лестница, а рядом стойка выдачи книг, и в креслах сидели два посетителя, старик и девушка, и читали газеты. Атмосфера была приятная, такая атмосфера и должна царить

в библиотеке маленького городка. Библиотекарша, женщина лет пятидесяти пяти, подняла голову. Волосы у нее были почти бесцветные, такие, знаете, тускло-русые (в молодости она, вероятно, была блондинкой), а глаза не большие и не маленькие — я хочу сказать, выглядела она как-то безлико, зато почти сразу приветливо спросила:

— Чем я могу вам помочь? — Похоже, она поняла, что мы не местные.

— Отец моего мужа был немецким военнопленным и работал здесь на картофельных полях, — сказала я. — У вас есть материалы об этом?

Библиотекарша внимательно посмотрела на нас и вышла из-за кафедры.

— Да, — сказала она. И отвела нас в уголок, посвященный немецким военнопленным, и Вильяма переполнили чувства, это было видно по его лицу.

На стене висели рисунки, сделанные военнопленными. На полках лежали старые журналы, раскрытые на статьях про военнопленных, и какая-то тонкая книжечка.

— Меня зовут Филлис, — сказала библиотекарша, и Вильям пожал ей руку, чем, по-моему, ее удивил. Тогда она спросила, как зовут его, и Ви-

льям представился, а потом обратилась ко мне и спросила, как зовут меня, и я пробормотала: «Люси Бартон». — Ну что ж, изучайте, — сказала Филлис, придвигая к стеллажу два кресла, и мы сказали ей спасибо.

Целая полка была уставлена старыми снимками, и, приглядевшись к одному из них, я воскликнула:

— Вильям! Это же он!

На снимке было четверо мужчин, они сидели на корточках, и снизу были подписаны их имена и фамилии. Один улыбался, остальные — нет. Вильгельм Герхардт сидел с краю. Он не улыбался. Его кепка была сдвинута набок, и он смотрел в камеру серьезным взглядом — взглядом, который почти говорил: «Да пошли вы». Вильям взял снимок в руки и долго его разглядывал, а я смотрела на Вильяма, пока он его разглядывал. А потом отвернулась.

Когда я повернулась обратно, он все еще изучал снимок; наконец он поднял глаза и сказал:

— Это он, Люси. — Затем добавил чуть тише: — Это мой отец.

Я снова взглянула на фото, и меня снова поразило выражение лица Вильгельма. Все мужчины были худыми, но у Вильгельма были темные

брови и темные глаза, и смотрел он слегка презрительно.

Филлис по-прежнему стояла у нас за спиной.

— Мы очень гордимся тем, как с ними тут обращались. Вот, смотрите… — И она открыла тоненькую книжечку и показала нам фотографии писем, которые местные фермеры получали от вернувшихся в Германию военнопленных. В каждом письме была просьба прислать еды. — Один фермер отправлял в Германию целые горы провизии, — сказала Филлис и, пролистав книжечку, показала нам фотографию фермера, грузившего большие коробки на транспортер. Фамилия у фермера была не Траск. Я и не думала, что это окажется Траск. — Вы не спешите, — сказала Филлис и вернулась за стойку.

* * *

Вильям подтолкнул меня в бок и показал цитату ближе к концу тоненькой книжечки. Это были слова немецкого военнопленного о том, как утром двадцатого апреля, в день рождения Гитлера, они сшили свастики из фиолетовой ткани и развесили их в бараках. Потом я вычитала в одном письме, написанном уже после войны, что было время, когда военнопленных недокарм-

ливали. И вспомнила рассказ Кэтрин, как она носила им пончики. Мы больше часа изучали материалы, затем вернулась Филлис.

— У меня муж на пенсии, если хотите, он отвезет вас к баракам — к тому, что от них осталось, — сказала она. — Это рядом с местным аэропортом.

Вильям просиял:

— Ой, было бы замечательно.

Филлис отправила мужу сообщение и немного спустя сказала:

— Он будет через десять минут. — Так что мы собрали вещи и пошли к стойке выдачи. Там лежала стопка моих книг. — Подпишете для наших читателей? — спросила Филлис. И я сказала — конечно, давайте, хотя у меня в голове не укладывалось, что она может меня знать (ведь я невидимка), но я все равно подписала.

Муж Филлис, Ральф, такой же приветливый, как она сама, и с такими же бесцветными, некогда светлыми волосами, заехал за нами на джипе. На нем были брюки хаки — правильной длины — и красная футболка. В машине он разговаривал в основном с Вильямом — Вильям сидел спереди, а я сзади, — и светило солнце, и дорога заняла где-то пятнадцать минут; сначала Ральф показал

нам смотровую вышку, она была не очень высокая, а потом свернул на проселок, притормозил и, не глуша двигатель, показал нам все, что осталось от лагеря, где когда-то жило больше тысячи военнопленных. От лагеря остался лишь кусок бетонной стены.

И тут со мной случилась странная штука. Не знаю, как объяснить, чтобы вы поверили, поэтому просто расскажу, что произошло.

Я взглянула на останки бетонной стены, кое-где ее покрывала зеленая листва, и листва эта блестела на солнце, и тут меня переклинило, и с этого момента, что бы ни говорил Ральф, я все знала наперед. Я имею в виду, стоило ему раскрыть рот, а я уже заранее знала, какие слова он произнесет. Ничего важного он не говорил — лишь описывал, как строили бараки и какая там была теплоизоляция. Но в голове у меня звучал женский голос, когда-то все это мне уже рассказывавший. Просто удивительно. «Это дежавю?» — подумала я. И сразу поняла, что нет. Ощущение длилось гораздо дольше, это было очень странное мгновение. Или множество мгновений.

Ральф высадил нас у библиотеки, и мы оба пожали ему руку и поблагодарили его, а потом,

когда мы сели в свою машину, я рассказала Вильяму, что произошло, и он долго смотрел на меня испытующим взглядом.

— Ничего не понимаю, — сказал он.

— Я тоже, — сказала я.

— Но это было видение? — спросил он. (У меня уже случались видения — как и у моей матери, — и даже Вильям, ученый, знал про них и не подвергал их сомнению.)

— Нет, — сказала я. — До видения это недотягивает. — А потом добавила: — Я будто на миг проскользнула между мирами. Только длилось это дольше, чем миг.

Вильям поразмыслил над моими словами и покачал головой.

— Ладно, Люси, — сказал он и завел мотор.

* * *

Видения моей матери.

Одной ее заказчице — мама занималась пошивом и ремонтом одежды — должны были удалять желчный пузырь, и накануне операции маме приснилось, что у этой женщины рак. Утром мама рыдала у нашей старой стиральной машинки, и, когда я спросила, что случилось, она объяснила, что в женщине «он уже повсюду»,

— и оказалась права. Заказчица умерла два с половиной месяца спустя.

Один мужчина в нашем городе покончил с собой, и мама заранее знала, что это случится, за несколько недель. «Я все видела», — сказала она. И он действительно покончил с собой — застрелился в поле. Он служил дьяконом в конгрегационалистской церкви, хороший был человек; помню, он всегда улыбался мне, когда мы приходили в церковь на День благодарения ради бесплатного обеда.

Когда я была маленькой, у нас в окру́ге пропал мальчик, и мама сказала, что он упал в колодец. У нее было видение, сказала она. Папа предложил обратиться в полицию, а она ему: «Ты спятил? Меня примут за сумасшедшую! Нам это нужно? — Она сказала: — Нам нужно, чтобы весь город так думал?» Но потом мальчика в колодце нашли, и ей не пришлось никому рассказывать. Знали только мы. Он выжил.

Когда родилась Крисси, я получила от мамы письмо — я не сообщала ей о беременности, — и в письме говорилось: «У тебя родилась дочка, у меня было видение, в котором ты держала младенца в пеленке, и я сразу поняла, что это девочка».

Такой была моя мама, и я это принимала.

Мои видения сбывались редко, и я не придавала им значения. (Не считая снов про измены Вильяма, если это, конечно, были видения, в чем я сильно сомневаюсь.) Но это еще не всё.

Много лет назад я преподавала в колледже на Манхэттене, и у меня была подруга, которая тоже там преподавала, и как-то раз она пригласила меня в свой загородный дом на Лонг-Айленде, и я забыла там часы; они были ерундовые, почти ничего не стоили, и я даже не вспоминала про них и не просила их вернуть. Но как-то утром, много месяцев спустя, заходя в подземку, я представила часы в своем почтовом ящике в колледже — почтовые ящики были просто ячейками в деревянном стеллаже, — и, когда я приехала, часы были там, в точности как я представляла. Это самое странное из всех моих видений. Я хочу сказать, оно ничего для меня не значило. Вот так.

* * *

Мы хотели пообедать в Хоултоне, но единственная закусочная, которую мы нашли, работала до двух тридцати, а мы приехали в два тридцать

пять.

— Извините, — сказала официантка и, закрыв у нас перед носом дверь, заперла ее изнутри.

— Где здесь можно поесть? — спросил Вильям через стекло, но официантка уже ушла.

— Господи, — сказал Вильям. — Ладно, пообедаем в Форт-Фэрфилде.

По плану Вильяма в Форт-Фэрфилде мы посмотрим на улицы, по которым в свой звездный час разъезжала на платформе Лоис Бубар, когда стала «Мисс Картофельный цветок», — не знаю, почему для него это было так важно, — а ночь проведем в Преск-Айле, городке в сорока милях от Хоултона, но всего в одиннадцати от Форт-Фэрфилда, потому что, как объяснил свой интерес Вильям, «оттуда родом ее муж», так он сказал про Преск-Айл, и там мы решим, что делать на следующий день, когда мы поедем через Хоултон в аэропорт, чтобы сесть на вечерний рейс в Нью-Йорк. Я имею в виду, там мы решим, что делать с женщиной из дома номер четырнадцать по улице Любезной, единоутробной сестрой Вильяма Лоис Бубар.

* * *

По дороге в Форт-Фэрфилд над нами раскинулось необъятное небо, и я ощутила маленький прилив радости, потому что под таким небом я росла. Это было красивое небо, с солнцем и низкими облачками, похожими на стеганое одеяло, и солнце то скрывалось за ними, то выглядывало снова, освещая зеленые пастбища, и нам попалось огромное поле с подсолнухами. Еще нам попадались поля, засеянные клевером под покров, чтобы в почве накапливались питательные вещества, а весной, как я помнила еще с детства, клевер уберут. Не ожидала, что почти знакомая картина так во мне откликнется, что утренняя паника и ощущение изоляции сменятся этим. Я радовалась, вот я к чему. И снова в памяти моей всплыла поездка с отцом в пикапе.

На полпути — дорога опять была почти пустой — Вильям сказал:

— Прости, что я творил столько херни, когда мы были женаты.

Он смотрел прямо перед собой, поза у него была расслабленная, руки лежали на нижней части руля.

— Ничего, а ты прости, что я так странно себя вела, — сказала я.

Он кивнул, и дальше мы ехали молча.

Эта беседа, почти слово в слово, повторялась уже не первый год, не часто, но порой она всплывает — такое взаимное извинение. Кто-то удивится, но для нас с Вильямом это в порядке вещей. Из такой мы сотканы ткани.

И для нас было совершенно естественно повторить эту беседу в тот день.

— Напишу девочкам, — сказала я, и обе они тут же ответили на мое сообщение. «Не терпится услышать подробности!» — писала Бекка.

Мы проехали мимо двух маленьких домов со спутниковыми тарелками. На одной ферме стояло четыре самосвала — похоже, они годами не двигались с места, колеса едва выглядывали из высокой травы. Затем Вильям заговорил:

— Мой отец был членом гитлерюгенда.

— Расскажи еще раз, — попросила я; он уже рассказывал эту историю когда-то давно.

— На моей памяти отец лишь раз упоминал войну, по телевизору шел сериал — как же он назывался? — про лагерь для военнопленных в Германии. Якобы комедийный.

Я не ответила, потому что росла без телевизора, а еще потому что уже слышала эту историю. Вильям продолжил:

— «Не смотри эту дрянь, Вильям, — сказал мне отец. А потом повернулся ко мне и сказал: — В Германии происходили очень плохие вещи. Мне не стыдно за то, что я немец, но мне стыдно за то, что сделала Германия». — Вильям задумчиво добавил: — Наверное, он решил, что я уже достаточно взрослый для этой истории, мне было двенадцать. Отец рассказал, что был членом гитлерюгенда, так полагалось в то время, и он не особенно об этом задумывался, и позже он воевал в Нормандии, но про гитлерюгенд я должен знать. И еще кое-что: он думал, что умрет в окопе во Франции, но те четверо американцев не убили его, и он всегда хотел найти их и поблагодарить. Ну то есть он дал мне понять, что не поддерживает — во всяком случае, теперь — то, что сделала его страна. А я просто ответил: «Ладно, пап, ясно». — Вильям покачал головой. — Боже, как жалко, что я ни о чем его не расспрашивал.

— Знаю, — сказала я. — Мне тоже.

— И Кэтрин Коул… Она никогда не рассказывала, что он думал о войне, разве что в общих чертах.

Я и это знала, но ничего не ответила.

* * *

Извинение Вильяма напомнило мне вот о чем.

Много лет назад, когда Вильям признался мне в своих изменах, у меня сложилось впечатление, что одна женщина ему особенно дорога, хоть он и говорил, что никого из них не любит, это была женщина с его работы — не Джоанна, — и я подозревала, что ради нее он может меня бросить. Мы вчетвером отправились в Англию — мы с Вильямом и девочками то есть, — это была идея Вильяма, потому что я всю жизнь хотела там побывать, и вот мы отправились в Англию, но как раз незадолго до этого я узнала о женщине с работы, и о других тоже. Но, как я уже сказала, женщина с работы была ему особенно дорога. И как-то ночью в Лондоне — девочки уже спали — я пошла в ванную и начала плакать, и пришел Вильям, и я сказала: «Пожалуйста, только не бросай меня!» А он мне: «Почему?» А я ему — как сейчас помню, я сидела на полу и цеплялась за шторку для душа, а потом за его штанину, — я ему: «Ведь ты же Вильям! Ты Вильям!»

Годы спустя, когда я решила от него уйти, Ви-

льям плакал, но не говорил ничего подобного. Он сказал: «Я боюсь быть один, Люси». Я ждала, но так и не услышала: «Только не бросай меня, ведь ты же Люси!»

Раз, когда я уже ушла от него, я позвонила ему и сказала: «Может, нам стоит попытаться снова?» И он ответил: «Только если ты можешь привнести в отношения что-то новое».

У меня не было ничего нового. Я хочу сказать, я не знала, что нового могу привнести в отношения, вот.

* * *

Насчет авторитета.

Когда я преподавала литературное мастерство — что я делала много лет, — я рассуждала об авторитете. Я говорила своим студентам, что главное — подходить к тексту с авторитетом.

И, увидев фотографию Вильгельма Герхардта в библиотеке, я сразу подумала: вот он, авторитет. Я тут же поняла, почему Кэтрин в него влюбилась. Дело было даже не во внешности, а в том, как он держался, — мол, он исполнит, что велено, но вы никогда не получите его душу. Я живо представила, как он играет на пианино, а после встает и уходит. И постепенно я осознала:

вот почему я влюбилась в Вильяма. Нас притягивает авторитет. Правда. Что бы мы ни говорили, нас притягивают люди, в которых чувствуется авторитет. С ними нам безопасно.

И даже в разгар наших Трудностей — как я их называю — Вильям не утратил в моих глазах авторитета. Даже когда я представляла нас Гензелем и Гретель, заблудившимися в лесу, мне всегда было с ним безопасно. Почему с некоторыми людьми нам так безопасно? Трудно сказать. Но когда мы с Вильямом познакомились и потом, после свадьбы, и даже в разгар наших Трудностей мне было с ним безопасно. Помню, когда мы поженились и у нас возникли первые проблемы (я уже писала об этом), я сказала одной подруге: «Я, как рыбка, плавала кругами, а потом вдруг натолкнулась на камень».

* * *

Вскоре показалась табличка «Добро пожаловать в дружелюбный Форт-Фэрфилд».

Вильям подался вперед и прищурился.

— Господи, — сказал он.

— Боже правый, — сказала я.

Все в городе было закрыто. Машин на улицах не было, а на торговом центре, носившем назва-

ние «Виллидж Коммонс», висело объявление: «Сдается в аренду». У дороги возвышался Первый национальный банк с белыми колоннами, двери его были заколочены. Магазин за магазином стояли закрытые. Казалось, работает лишь маленькое почтовое отделение в конце главной улицы. Параллельно улице текла река.

— Люси, что здесь произошло?

— Понятия не имею.

Картина была зловещая. Кофейни, магазины одежды, аптеки — все в этом городе было закрыто, и мы снова проехались по главной улице, где не было ни одной машины, а потом двинули обратно.

— У этого штата дела плохи, — сказал Вильям, но я видела, что он глубоко потрясен. Я и сама была потрясена.

— Умираю с голоду, — сказала я. Поблизости не было даже заправки.

— Поедем в Преск-Айл, — предложил Вильям. Я спросила, далеко ли до Преск-Айла, и Вильям сказал, где-то одиннадцать миль, но мы даже не выехали на трассу, поэтому я сказала, что не смогу так долго ждать. — Тогда смотри по сторонам, увидим закусочную — остановимся, — сказал он.

Сперва мы ехали молча, потом я спросила:

— Почему тебе так хотелось в Форт-Фэрфилд?

Вильям ответил не сразу, он все смотрел на дорогу и покусывал усы. А потом произнес:

— Я подумал, когда мы встретимся с Лоис Бубар, я смогу сказать ей, что мы ездили в Форт-Фэрфилд и осматривали места, где она стала «Мисс Картофельный цветок», и она оценит, что я проявил к ней такой интерес, и ей будет приятно.

Ах, Вильям, подумала я.

Ах, Вильям…

* * *

А потом Вильям сказал:

— Постой-ка. Ричард Бакстер родом из Мэна.

Когда мы с Вильямом только познакомились, он рассказал мне о работе Ричарда Бакстера. Ричард Бакстер был паразитологом — специализировался на тропических болезнях, как и сам Вильям, — и придумал, как диагностировать болезнь Шагаса; диагностировать ее умели и до него, но к тому времени, когда ставили диагноз, пациент обычно уже был мертв, а Ричард Бакстер придумал, как ставить диагноз быстрее. Он открыл — если я правильно понимаю, — что

паразитов можно обнаружить в свернувшейся крови. Когда мы с Вильямом познакомились в колледже в пригороде Чикаго, он занимался болезнью Шагаса, а Бакстер сделал свое открытие, как быстрее ставить диагноз, за десять лет до этого.

Вильям притормозил у обочины и достал айпэд, минуту-другую он копался в нем, а затем сказал: «Все ясно» — и свернул на ближайшем повороте направо, и теперь уже мы ехали по другой дороге.

— Это невоспетый герой, вот он кто. Он спас столько жизней, Люси, — продолжал Вильям.

— Знаю. Ты уже говорил.

— Он работал в Университете Нью-Гэмпшира, но родился в Мэне. Я только сейчас об этом вспомнил.

Я окинула взглядом поля, на невысоком холме показалась запряженная лошадью повозка, ей правил мужчина в широкополой шляпе.

— Ты только посмотри, — сказала я.

— Это амиши, — сказал Вильям. — Они перебрались сюда из Пенсильвании, чтобы возделывать землю. Я про них читал.

Затем мы проехали мимо фермерского дома, на крыльце которого сидели два ребенка. Ма-

ленький мальчик, тоже в широкополой шляпе, и маленькая девочка в длинном платье и чепчике. Они энергично замахали нам. Как энергично они замахали!

— Смотреть тошно, — сказала я, помахав им в ответ.

— Почему? Они живут как им нравится, — сказал Вильям.

— То есть как сумасшедшие. И детей заставляют так жить.

Сказав это, я поняла, что амиши напомнили мне о детстве, сами знаете, из какой я вышла семьи. Дэвид вышел из другой семьи, но он тоже рос в герметичной среде.

Недавно — в Нью-Йорке — я смотрела документальный фильм о людях, покинувших общину хасидских евреев, я смотрела его из-за мужа, он умер в прошлом году, и мне пришлось выключить на середине. А все потому, что происходящее слишком напоминало мою жизнь — не мир, который эти люди покинули, он был мне незнаком, но то, как им жилось после. Они ничего не знали о массовой культуре, и так было с Дэвидом, когда он ушел, и так было в моем случае — в моем случае это длится до сих пор, такие вот лишения не дают о себе забыть никогда.

— Терпеть не могу, когда детям не оставляют выбора. — Я махнула в сторону фермы, которую мы проехали.

Вильям ничего не ответил. Похоже, он думал не об амишах. Спустя пару минут он сказал:

— Странная судьба — родиться в таком вот месте и стать специалистом по тропическим болезням.

Я подождала, но он ничего не добавил. Тогда я спросила:

— Как продвигается твоя работа?

Он бросил на меня взгляд:

— Она уже никуда не продвинется. Моя карьера окончена.

— Нет, не окончена.

— Нет, окончена.

Я ничего не ответила. Мы молча ехали по дороге, ведущей в Преск-Айл.

— Боже, мне срочно нужно поесть, — сказала я немного спустя, у меня появились странные ощущения в голове, будто она сама по себе, как бывает, когда мне срочно нужно поесть.

— И где ты здесь предлагаешь найти еду? — спросил Вильям.

Нам действительно не попалось ни одной закусочной, мимо мелькали лишь деревья и редкие

дома, и так много миль подряд.

Я взглянула на бесконечный асфальт с кромкой сухой травы и спросила:

— Ты завидуешь Ричарду Бакстеру?

Понятия не имею, почему я об этом спросила.

Вильям снова бросил на меня взгляд, и машину слегка мотнуло.

— Господи, Люси, надо же такое сказать. Нет, я ему не завидую. Боже правый. — А затем, пару минут спустя: — Но про диагностические методы Герхардта никто не слышал, верно?

Тогда я сказала:

— Вильям, ты помог массе людей, ты столько лет занимался шистосомозом, а еще ты преподавал…

Он поднял руку, чтобы я перестала. И я перестала.

Внезапно Вильям издал звук, похожий на смешок. Я обернулась:

— Что?

Он не отрывал взгляда от дороги.

— Помнишь, как-то раз мы устроили званый ужин — ну, званый ужин — это громко сказано, ты никогда не умела устраивать настоящие званые ужины, — но мы пригласили в гости друзей, и вот они уже давно ушли, и я лег спать, но по-

том встал и спустился в столовую… — Вильям посмотрел на меня. — А там… — Опять он издал этот почти смешок, а потом уставился на дорогу. — А там ты: склонилась над столом и целуешь тюльпаны в вазе. Ты их целовала, Люси. Каждый цветок. Это было так странно.

Я отвернулась к окну, лицо у меня разрумянилось.

— Ты странная, Люси, — сказал он. Вот так.

* * *

Каждое утро, закончив мыть посуду после завтрака, Дэвид садился на наш белый диван у окна и легонько хлопал по сиденью; он всегда улыбался мне, когда я садилась рядом. А потом говорил — каждое утро говорил он эти слова: «Люси Би, Люси Би, как мы встретились с тобой? Слава богу, вместе мы».

Он в жизни не стал бы надо мной смеяться. Никогда. Ни за что.

* * *

Мы с Вильямом ехали дальше, и вдруг меня ожгло воспоминание о том, каким отвратительным бывал порой наш брак: близость настолько

густая, что заполняет собой всю комнату, горло забито знанием другого, и вот уже закладывает ноздри — от запаха его мыслей, от неловкости слов, которые вы произносите вслух, от приподнятой брови, едва уловимого наклона головы; никто, кроме другого, не поймет смысла этих мелочей, но с такой жизнью ты не будешь свободным, никогда.

Близость обернулась кошмаром.

* * *

В Преск-Айл мы приехали засветло: дни в августе длинные, к тому же не было еще и пяти. Это место уже больше смахивало на город. Но и там народу почти не было. Один мужчина, сидевший на скамейке на главной улице, добавлял в бутылку с водой заменитель сахара, затем он достал телефон-раскладушку. Я годами не видела телефонов-раскладушек.

— Что мы здесь делаем? — спросила я Вильяма. — Объясни еще раз.

И тогда он сказал:

— Отсюда родом муж Лоис Бубар. Ты что, не слушала?

И я подумала: «Ах, Вильям. Боже правый». Вот что я подумала.

Большую часть пути Вильям не раскрывал рта, он явно был не в духе. Все потому, что я спросила его о работе, так мне кажется. И обвинила в том, что он завидует Ричарду Бакстеру. Но от его молчания мне стало одиноко.

Центр города напоминал Дикий Запад, вдоль главной улицы рядами тянулись невысокие дома. Мы припарковались на стоянке отеля, где Вильям забронировал номера. Вестибюль там был маленький — как в отеле при аэропорте, — лифт тоже был маленький, и мы целую вечность ехали на третий этаж.

— До скорого, — сказал Вильям и пошел вперед, катя за собой чемодан; его номер был наискосок от моего, чуть дальше по коридору.

— Я умираю с голоду, — сказала я.

— Скоро поедим, — не оборачиваясь, бросил он.

Номер был ничем не примечательный, только на письменном столе стояла огромная лампа с синим абажуром, в жизни не видела такой большой лампы. В комнате было темно, окна смотрели не на заходящее солнце, и я решила включить лампу. Но она не работала. Я проверила, воткнута ли вилка в розетку, и она была воткнута, но лампа не работала. Из окна от-

крывался вид на главную улицу. На скамейке по-прежнему сидел тот мужчина, но уже без телефона-раскладушки. Других людей я не видела. Я села на кровать и уставилась в пустоту.

* * *

То лето, когда умирала Кэтрин, я провела с ней в Ньютоне, штат Массачусетс, и девочки были с нами, им тогда было восемь и девять; я нашла для них лагерь дневного пребывания, а Вильям приезжал к нам по выходным. Девочки легко заводили друзей, особенно Крисси, и, поскольку они с Беккой, как я уже говорила, всегда были очень близки — хотя постоянно ссорились, — друзья Крисси стали друзьями и Бекки тоже.

Я это вот к чему. Я могла проводить дни с Кэтрин — Кэтрин Коул, как звал ее Вильям, когда звонил: «Как поживает Кэтрин Коул?» — и мы с Кэтрин, как мне казалось, отлично ладили. Смерти я не боялась (что меня удивляло), и, когда подруги перестали ее навещать, когда у нее выпали волосы и она совсем исхудала, почти все время мы проводили вдвоем, и Кэтрин наняла домработницу, чтобы та по вечерам помогала с девочками. Насколько я помню, — не считая первой поры, когда она только узнала о своей

болезни и специально приехала в Нью-Йорк, чтобы нам сообщить, она тогда вся дрожала, и было невыносимо смотреть, как она дрожит, — не считая той первой поры, она не выказывала страха, и большую часть времени — да почти все время — мы просто болтали. Кажется, я не верила, что она и правда умрет. Возможно, она и сама не верила. Раз в неделю у нее были процедуры, и мы придумали схему: я заметила, что после процедур ей становится плохо не раньше чем через час, поэтому мы сразу ехали в закусочную и заказывали маффины, и у меня сохранилось воспоминание, как Кэтрин ест маффин и пьет кофе, но в воспоминании она вгрызается в маффин почти украдкой — не знаю, правильное ли это слово, — а потом я везла ее домой, и ей как раз становилось плохо и пора было прилечь; ее никогда не рвало, ей просто сильно нездоровилось весь оставшийся день.

Вечером в пятницу, когда приезжал Вильям, Кэтрин уже обычно спала, и он вставал у ее постели и глядел на нее, а потом выходил из комнаты, и в ту пору он мало со мной разговаривал, да и с девочками, по-моему, тоже. Так мне запомнилось.

Эти мысли были навеяны тем, что Вильям

не разговаривал со мной по дороге в Преск-Айл.

Но у нас с Кэтрин выработался ритм, и, пока девочки были в лагере, мы целыми днями болтали. Чем хуже ей становилось, тем реже она вставала с постели, и я сидела в большом кресле у ее кровати. Мне было вовсе не трудно, я не хочу создавать ложное впечатление, я любила эту женщину, а по вечерам к нам приходили мои девочки, и я чувствовала, что нахожусь там, где и должна. «Пусть не боятся, — сказала Кэтрин ближе к концу, когда в комнату внесли оборудование, — пусть играют с ним», и (как мне кажется) это сработало, ведь девочки видели, что бабушка не боится и что я не боюсь, и быстро приспособились к кислородным штуковинам и к медсестрам, появившимся ближе к концу.

* * *

Лечащий врач Кэтрин беседовал со мной каждый день, он звонил с регулярностью, за которую я его обожала. Он сказал: «Это будет некрасиво». И я сказала: «Понятно». Я не знала, насколько некрасиво все будет, но некрасивая часть длилась недолго. Я объяснила девочкам, что бабушке стало хуже и им пока нельзя ее навещать, и, ка-

жется, они к этому приспособились. В ту пору с ними был Вильям — я имею в виду, он жил с нами последние две недели, — и его присутствие их успокаивало. Но ближе к концу начался кошмар.

Однажды — в выходные — Вильям повез девочек в музей в Бостоне, а я осталась с Кэтрин, и с каждым часом она становилась все беспокойнее, у меня просто разрывалось сердце. С ней было уже не поболтать, так она мучилась, и хотя ей ввели морфин, от которого она до последнего отказывалась, в тот день она металась и причитала. Я зашла к ней, и она теребила простыню и что-то хрипло бормотала, я уже (к сожалению) не помню что, но это было что-то бессмысленное, и очень трудно было смотреть, как усиливаются ее мучения.

И я допустила ошибку. Я потрепала ее по руке и сказала:

— Ах, Кэтрин, осталось совсем недолго.

И эта женщина впилась в меня взглядом, лицо перекошено от гнева, плюнула — попыталась плюнуть — и прохрипела: «Пошла вон!» Она подняла руку, голую руку, торчащую из щелки ночной рубашки, и прохрипела: «Пошла вон… Дрянь такая! Отребье!»

Я мгновенно поняла, что переступила черту,

намекнув, что скоро она умрет. Мне и в голову не приходило (тогда), что она может этого не знать, хоть я и сама (в каком-то смысле) этого не знала, а, впрочем, в тот момент уже знала. Но когда она меня выгнала, я зашла за угол дома, где из стены торчал водопроводный кран, а под краном были насыпаны мелкие камни, опустилась на них и зарыдала. Боже, как я рыдала. Ни до, ни после — так я не рыдала никогда. Ведь я была молода и прежде с таким не сталкивалась, хотя я сталкивалась со многим, и все же…

Я просто хочу сказать, что я рыдала.

И, помнится, вскоре вернулся Вильям с девочками, и он заметил меня за углом и отвел девочек внутрь, к домработнице, а затем вышел ко мне, и, помнится, он был ко мне добр, правда очень добр, ничего особенно не говоря.

Затем он вернулся в дом и зашел в комнату матери, а через пару минут вышел и сказал мне: «Никаких больше гостей», потом сел за стол и начал писать. Он писал некролог. Никогда этого не забуду. Мать еще не умерла, а он уже писал ее некролог, и отчего-то — все эти годы — его поступок меня восхищал.

Возможно, все дело в авторитете, о котором я говорила. Я не знаю.

* * *

Я постучалась к Вильяму в номер и, когда он впустил меня, сказала — мы порой говорили друг другу ту легендарную фразочку Крисси, — так вот, я сказала:

— Слушай сюда, ты начинаешь меня бесить.

Но Вильям не улыбнулся.

— Да? — холодно сказал он.

— Да. — Я села на краешек кровати. — Что с тобой творится?

Вильям уставился в пол и медленно покачал головой. Затем поднял на меня взгляд.

— Что со мной творится, — сказал он.

— Да, — сказала я. — Что с тобой творится?

Он сел на кровать с другой стороны и повернулся ко мне лицом:

— Вот что со мной творится, Люси. Я говорил тебе, что работа моя идет паршиво, я говорил это, когда Эстель меня бросила и ты ко мне зашла. Я тебе это говорил. Потом ты спросила об этом в машине, и я снова тебе сказал. Но ты не слушала. Ты меня не слышала. А следом ты спросила, завидую ли я Ричарду Бакстеру. И я… — Он всплеснул руками. — Я почувствовал себя полным говном. Что в последнее время, если

честно, и без тебя случается часто.

Мы долго сидели молча. Затем Вильям встал, подошел к окну и вернулся обратно; руки у него были скрещены на груди.

— Знаешь, Люси, — сказал он. — Ты все волнуешься, что муж Бекки слишком на себе зациклен, но, должен тебе признаться, ты сама иногда этому подвержена.

Эти слова причинили мне физическую боль, будто мне в грудь вбили крошечный гвоздик.

— Ну конечно, я завидую Бакстеру, — продолжал Вильям. — Я и близко не сделал ничего столь же значительного. — Он отвернулся к окну. — И вот мы приезжаем сюда, и я до смерти боюсь и не знаю, что делать с этой Лоис Бубар, и тут выясняется, что ты голодная, — вечная твоя беда, Люси, ты вечно голодная, потому что ты никогда ничего не ешь, — и вся поездка превращается в поиск закусочных для Люси. А потом ты упоминаешь о моей работе, ты спросила меня о работе и тут же начинаешь говорить об амишах, какой они устроили культ. Да срал я на их культ!

Я еще немного посидела на кровати, а потом встала и пошла к себе в номер.

* * *

Когда я ушла от Вильяма, и еще когда Вильям с Джоанной собрались пожениться, и когда они уже поженились — в этот период Крисси сильно похудела. Я хочу сказать, она заболела. Она поступила в тот колледж, где мы с Вильямом познакомились. И она заболела. Она так похудела, что сам Вильям позвонил мне и сказал: «Крисси похожа на скелет». Я и раньше это замечала и даже упоминала в разговоре с Вильямом, но лишь когда это произнес Вильям, я ощутила, насколько все серьезно. Он добавил: «Джоанна тоже так думает».

Она заболела.

Наша дочка заболела.

В ту пору Крисси со мной почти не разговаривала. На Рождество они все — Вильям, и Крисси, и Бекка (но не Джоанна) — пришли меня проведать, и Бекка со слезами на глазах воскликнула: «Меня от тебя тошнит!» Она стояла, прижав руки к туловищу, как бы не подпуская меня к себе. А когда Крисси пошла в туалет, тихо сказала: «Посмотри на нее. Ты убиваешь мою сестру». Она отвернулась, а затем снова повернулась ко мне

и прибавила: «Ты убиваешь свою дочь».

Мы с Вильямом обратились к женщине, занимавшейся расстройствами пищевого поведения, и разговаривать с ней было просто невыносимо. Она сказала, что в таком возрасте — Крисси было двадцать — выкарабкаться гораздо труднее, а потом еще, пока мы пытались это переварить, покачала головой и добавила: «Это все печально, потому что ей очень больно. Так делают только те, кому очень больно».

Помню, когда мы вышли из кабинета, мы не злились друг на друга. Мы были в ступоре и бесцельно бродили по улицам.

Признаться, я всегда чуточку ненавидела эту женщину.

Вот о чем я размышляла, сидя неподвижно в темном гостиничном номере. Я размышляла о болезни Крисси и впервые в жизни осознала — осознала до конца, не пытаясь себя оправдать, — что виновата во всем была я. Ведь это я ушла из семьи.

Сколько бы я ни ощущала себя невидимкой, это не так.

А потом я вспомнила, как в одиночку отправи-

лась в колледж Крисси поговорить с деканшей; я думала, администрация нам поможет. Вот идиотка. Деканша вела себя со мной некрасиво, она правда вела себя ужасно некрасиво, сказала, что, когда состояние Крисси ухудшится, ее попросят уйти из колледжа, что они ничего не могут — и не будут — для нее делать. А Крисси все время, что я там была, толком со мной не разговаривала, она очень разозлилась, что я пошла к деканше. Она медленно процедила сквозь зубы: «Поверить не могу, что ты приехала сюда и разговаривала с деканшей. Поверить не могу, что ты посмела так нарушить мои границы».

Я хочу сказать — то есть я должна сказать, раз уж решила быть откровенной, — что в ту пору я каждый день ходила в церковь неподалеку от моей квартиры, опускалась на колени и молилась, — и, говоря «молилась», я имею в виду, что я ждала, пока почувствую незримое присутствие, а потом мысленно просила: «Господи, пожалуйста, пусть она выздоровеет, ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, пусть моя дочка выздоровеет».

Я не торговалась, я просто просила. И всегда за это извинялась. («Я знаю, в мире еще столько людей, кому очень плохо, извини, что прошу

об этой личной услуге, но для меня нет ничего дороже… Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, пусть моя дочка выздоровеет».)

Когда я была маленькой, мы ходили в местную конгрегационалистскую церковь; мы всегда ходили туда на День благодарения ради бесплатного обеда. Папа терпеть не мог католиков. Он говорил, преклонять колени — это отвратительно и только узко мыслящие люди так делают.

* * *

Крисси выздоровела, хоть и не сразу. Ей помогли занятия с психологом, это была не та ужасная женщина, к которой обратились мы с Вильямом.

Много лет спустя я рассказала об этом одному приятелю, епископальному священнику, и тогда он спросил: «Как считаешь, почему Крисси твои молитвы не помогли?»

Я была потрясена. Что он хотел этим сказать?

Но, сидя на стуле в гостиничном номере и размышляя о тех временах, я пришла к выводу, что Вильям прав. Я на себе зацикливаюсь. Я вспомнила, как однажды, когда девочки учились в колледже, мы с Беккой пошли в кафе — она приехала домой на каникулы — и Бекка пыта-

лась что-то мне рассказать (даже теперь не могу вспомнить что), а я перебила ее и заговорила о своей редакторше: у нас были разногласия. И Бекка выпалила: «Мам! Я тут пытаюсь донести до тебя кое-что важное, а ты только и можешь, что говорить о своей редакторше!» И заплакала.

Как ни странно, тот эпизод прояснил для меня одну важную вещь — и, пока я сидела в темнеющем гостиничном номере в Мэне, прояснил ее снова. На миг он дал мне понять, кто я такая на самом деле — человек, порой зацикливающийся на себе. Я это запомнила.

Но вот я сделала это снова. Вильям хотел рассказать мне про Ричарда Бакстера, про свою работу — и он был совершенно прав: я наплевала на то, чего хотел он.

Очень долго я сидела в номере, и очень даже настоящая боль — я ощущала ее физически — плескалась у меня в груди, накатывая и накатывая мелкими волнами. Когда уже совсем стемнело, я включила верхний свет и заказала чизбургер в номер.

* * *

Дальше последовало то, что всегда следовало за нашими ссорами, когда мы были женаты.

Кому первому становилось тоскливо, тот и шел мириться. И вот Вильям постучался ко мне в номер, и я его впустила — он принял душ, и волосы у него были мокрые, и на нем были джинсы и синяя футболка, тогда-то я и заметила его намечающееся брюшко, — и он взглянул на чизбургер, присохший к тарелке, и сказал:

— Ох, Люси…

Я ничего не ответила.

Я ничего не ответила, потому что была не права. Не помню, когда мне в последний раз было так стыдно.

— Брось, Люси, — сказал он. — Пойдем вниз, поедим.

Я замотала головой.

Тогда Вильям заказал обслуживание в номер:

— Два чизбургера в комнату триста два… (Его комнату.) И два цезаря. И бокал белого вина. Неважно. Любого. — Он положил трубку и повернулся ко мне: — Пойдем, здесь так уныло, что повеситься можно.

И мы пошли к нему в номер, где было повеселее — лампа у него работала, и еще там было большое окно с видом на закат.

— А теперь послушай, — сказал Вильям, садясь рядом со мной на кровать. — Ты хотя бы

не гадкая.

— В каком смысле?

— В таком, что человек ты не гадкий. К примеру, как гадко было с моей стороны заговорить о званых ужинах — и это были настоящие званые ужины, Люси, они тебе удавались, — а я просто наговорил тебе гадостей. И про то, что ты зациклена на себе. Ты зациклена на себе не больше, чем любой другой.

— Нет, больше! — не выдержала я. — Если бы я не решила уйти от тебя, Крисси бы не заболела, и тогда…

Вильям с измученным видом поднял ладонь. Затем машинально огладил усы, встал с кровати и медленно так произнес:

— Решила уйти от меня? — И взглянул на меня, и с некоторой горячностью повторил: — Решила, Люси? Часто ли мы по-настоящему что-то решаем? Ну скажи. Ты правда решила уйти из семьи? Нет, я наблюдал за тобой, и ты… Ты просто ушла, будто у тебя не было выбора. А я — правда ли я решил тебе изменять? Знаю-знаю, ответственность и все такое — я занимался с психологом, если ты не в курсе, я занимался с той женщиной, к которой мы ходили с Джоанной, я ходил к ней один, и она говорила об ответственности.

Но я думал об этом, Люси, я много об этом думал и хотел бы я знать — нет, правда, хотел бы я знать, — часто ли человек по-настоящему принимает решения? Ты мне скажи.

Я задумалась. Он продолжил:

— Время от времени — изредка — мы и правда что-то решаем. В остальных случаях мы просто следуем — сами не знаем чему, но следуем. Так что нет. Я не считаю, что ты решила уйти.

Немного подумав, я спросила:

— Ты не веришь в свободу воли?

Вильям схватился за голову:

— Ой, только не надо приплетать сюда это фуфло. — Расхаживая взад-вперед по комнате, он провел рукой по волосам. — Говорить о свободе воли это все равно что… даже не знаю… Все равно что притащить в комнату футбольные ворота. Я говорю о решениях. Знаешь, был у меня один приятель, работал в администрации Обамы, и его задачей было помогать с принятием решений. И он сказал, что им крайне, крайне редко приходилось по-настоящему что-то решать. Я всегда думал: как интересно. Ведь это правда. Мы не решаем, Люси, мы просто делаем.

Я ничего не ответила.

Я вспомнила, как весь год перед нашим с Ви-

льямом разрывом почти каждую ночь, когда он уже спал, я выходила в наш маленький садик и спрашивала себя: «Что мне делать? Уйти или остаться?» Тогда мне казалось, что я стою перед выбором. Но, вспоминая об этом теперь, я поняла, что за весь год не совершила никаких потуг, чтобы вернуться в брак; я держалась особняком, вот что я имею в виду. Хоть и считала, что стою перед выбором.

Одна моя подруга сказала: «Когда я не знаю, что делать, я смотрю, что я уже делаю». А делала я вот что — весь год я уходила, хоть это и было незаметно до самого конца.

Я подняла взгляд и сказала:

— По этой логике ты не специально говоришь гадости.

— Ну, наверное, — сказал Вильям.

— Не наверное, а точно! — сказала я. А потом добавила: — Зато я очень гадкая у себя в голове, ты не поверишь, какие гадости я иногда думаю.

Вильям всплеснул руками:

— Господи, Люси, все люди гадкие у себя в голове.

— Серьезно?

Он усмехнулся, но это был дружелюбный смешок.

— Да, Люси, люди гадкие у себя в голове. У себя в мыслях. И очень часто. Я думал, ты знаешь, ты же у нас писатель. Боже правый.

— Ну… — сказала я. — По крайней мере, ты не бываешь гадким подолгу, ты всегда извиняешься.

— Я не всегда извиняюсь, — сказал он. И это тоже была правда.

Когда принесли ужин, я поняла, что бокал вина он — конечно же — заказал для меня, и была этому рада. Мы сидели на стульях перед письменным столом, и разговаривали, и все никак не могли наговориться. Сначала мы разговаривали о поездке в Преск-Айл. Вильям сказал: «О чем я только думал? Я думал, мы будем бродить по улочкам и разглядывать прелестные домишки и посмотрим, где вырос муж Лоис Бубар, но правда, Люси, о чем я только думал? Нет здесь никаких улочек, мне в этом городе тошно».

Мы разговаривали о Бриджет. Те несколько раз, что она приходила к Вильяму в гости, вид у нее был грустный и виноватый, она не болтала без умолку, как прежде, и Вильям сказал, что ему было неловко и тоже грустно, а мне было грустно это слышать. Мы разговаривали о наших девочках и сошлись на том, что все у них будет

хорошо; у них и так все было хорошо, но родители никогда не перестают беспокоиться о своих детях, а еще мы разговаривали о работе Вильяма. «У всего есть жизненный цикл. Включая карьеру», — сказал он. Он правда чувствовал, что его карьера окончена. «Но я буду приходить в лабораторию, пока не рухну замертво», — сказал он, и я его понимала.

Вскоре Вильям встал. «Давай посмотрим новости», — предложил он и включил телевизор, и мы улеглись рядышком на кровати. По местным новостям крутили сюжет о сыне полицейского, погибшем от передозировки. Неподалеку от Джекмена произошла авария, перевернулся грузовик, но водитель остался жив. Потом начались общенациональные новости, и в стране — во всем мире — царил беспорядок, но, несмотря на это, мне было уютно. Вильям пошел в туалет, а когда вернулся, сел на краешек кровати и сказал:

— Люси, может, забудем всю эту затею с Лоис Бубар? Я стар, она еще старше. Какой в этом смысл.

— Давай решим завтра, — сказала я, приподнимаясь. — Поедем в Бангор через Хоултон и на месте разберемся. Но я понимаю, о чем ты.

Вильям окинул взглядом комнату и посмотрел

в темное окно.

— Ужасное место, — сказал он. — Даже не верится, что здесь родился Ричард Бакстер.

— Ну, твоя мать тоже отсюда родом, — ответила я, и он сказал:

— Боже. А ведь правда. — И, пробежав рукой по волосам, добавил: — Знаешь, Люси, когда я был маленький, моя мать иногда впадала в депрессию.

— Расскажи подробнее, — попросила я. — Помню, она не раз говорила, что ей тоскливо. Причем таким беззаботным тоном… — Я потянулась за пультом и выключила телевизор. — Но однажды она прямо сказала мне, что у нее бывает депрессия.

— Я ненавидел ее после смерти отца, — сказал Вильям.

Я попыталась вспомнить, знала ли я это.

— Ну, ты был подростком.

Вильям потянул себя за усы.

— Я уже и забыл об этом, но вообще-то я ее терпеть не мог. Мы вечно ссорились, и она рыдала.

— А из-за чего вы ссорились?

— Понятия не имею. — Вильям пожал плечами. — Какие у нас могли быть поводы? Я ведь не пил с друзьями ночи напролет и не принимал нарко-

тики. Не знаю. Но она меня доставала. Боже, как она меня доставала.

— Она горевала по мужу.

— Да кто же спорит. Я понимаю. Я просто хочу сказать, что она постоянно требовала внимания.

Я свесила ноги с кровати и повернулась к нему лицом.

— Ты говорил, что поэтому и согласился на должность в Чикаго — чтобы уехать от нее подальше.

Вильям сел на стул и уставился в пустоту. Немного погодя он сказал:

— Интересно, где она была в моем раннем детстве?

— Ты о чем?

— Когда я был маленький, у нее случалась депрессия. Эта ее тоска, как она выражалась. Но вчера ночью, в Бангоре, я все думал о том, что меня отдали в садик на год раньше, чем других детей. Почему она это сделала?

— Это когда ты жевал воротник? (Кэтрин рассказывала, что, когда Вильям был маленький, он приходил домой с пожеванным воротником.)

Вильям метнул в мою сторону взгляд:

— Это когда я ревел.

Я промолчала.

— В садике я ревел каждый день. Все дети там были на год старше, и они казались мне великанами. — Он помедлил, а потом продолжил: — Люси, когда я ревел на переменках, другие дети ходили вокруг меня и распевали: «Плакса, плакса».

— Ты мне никогда не рассказывал. — Я очень удивилась. Я взглянула на Вильяма, волосы у него торчали в разные стороны. Он выглядел до странности знакомо — не знаю, почему я говорю «до странности», но такое у меня было ощущение. — Ты мне никогда не рассказывал, — повторила я.

— Я вроде как забыл. Но не совсем. И я никому об этом не рассказывал. Но вчера я все вспомнил — видно, поэтому мне и почудилось, будто я держу Бекку на руках. — Вильям уперся локтями в колени. — Штука вот в чем. Там была одна воспитательница… Боже, какая славная женщина. Она брала меня на руки и ходила со мной по комнате. Как сейчас помню, брала меня и ходила по комнате.

Я хотела что-то сказать, но Вильям снова поднял ладонь:

— Однажды моих родителей попросили прийти с ней поговорить. И вот они пришли, и меня от-

правили играть в другую комнату. Был уже конец учебного дня. Потом они забрали меня, и по пути домой мать не проронила ни слова, а отец вел машину с очень серьезным видом. И он сказал мне: «Вильям, нельзя, чтобы воспитательница так часто брала тебя на руки. На ней, кроме тебя, целая комната детей». Что-то в этом духе он мне сказал, и всю дорогу домой я сгорал от стыда. — Вильям взглянул на меня. — Та воспитательница больше не брала меня на руки.

Я была потрясена до глубины души; он об этом даже не упоминал.

Вильям встал со стула.

— Но зачем вообще мать отдала меня в садик в таком возрасте? Она ведь не работала. Почему я не оставался с ней дома?

— Не знаю, — сказала я.

Мы еще немного поговорили о Кэтрин, о ее тоске, как она это называла. Я и не догадывалась, что ее тоска так отразилась на детстве Вильяма.

— Что ж, — сказал Вильям. — Ей было тоскливо, потому что она бросила своего ребенка. Она бросила свою малышку, — добавил он.

И в лице у него было столько боли.

Ах, Вильям, подумала я. Ах, Вильям!

Тем вечером на прощанье он обнял меня и сказал:

— Увидимся утром, Лютик.

* * *

Ночью я никак не могла уснуть — даже выпив таблетку, которую пью уже много лет, когда не могу уснуть. Я все прокручивала в голове слова Вильяма, что я зациклена на себе, и гадала, что же мне делать; думать об этом было неприятно. И я поступила так, как поступают все, когда их в чем-то винят. Я начала вспоминать разных знакомых и как сильно они зациклены на себе. Этот, думала я, вечно пытается скрыть, насколько он зациклен на себе, а сам не очень-то отзывчив, эта даже не подозревает, что зациклена на себе… Вскоре я сказала себе: «Люси, прекрати».

Но мысли мои блуждали.

Я вспомнила вот что.

Раз мы поехали во Флориду, девочкам, кажется, было восемь и девять, летом того года умерла Кэтрин. И зимой мы ненадолго поехали во Флориду — одно из первых наших путешествий без нее, — и в соседнем с нами доме была прачечная, и как-то раз я возвращалась оттуда, только что

загрузила машинку и шла по лужайке, и на мне было голубое джинсовое платье, и в голову мне будто залетела птичка. И птичка эта была мыслью: «Может, мне придется покончить с собой». Наверное, это был единственный раз, когда мне в голову пришла такая мысль. Залетела и вылетела, точно птичка. Застала меня врасплох. Я много размышляла об этом случае, и мне кажется, дело в том, что Вильям к тому времени уже завел интрижку с Джоанной и я это чувствовала. Вот что мне кажется.

Никогда я не покончу с собой. Я мать. Хоть я и считаю себя невидимкой, я мать.

Что касается моей матери, она часто угрожала покончить с собой, когда я была маленькая. Она говорила: «Вот уеду далеко-далеко, найду дерево и повешусь на нем», и я до смерти боялась, что она так и сделает. Она говорила: «Когда ты вернешься из школы, меня здесь уже не будет», и каждый день я возвращалась из школы в страхе. И каждый день она никуда не девалась. А потом я начала оставаться в школе после уроков, каждый день я оставалась после уроков, поначалу просто чтобы не мерзнуть — у нас дома было очень холодно, а я всегда ненавидела холод, — а дальше потому, что в школе мне дышалось

свободнее и я могла спокойно делать домашнее задание, и порой я думала про маму: «Ну давай, вперед!» Имея в виду: «Давай, покончи с собой». Но я боялась, что тогда в нашем маленьком городке нас станут считать еще более странными.

Спустя несколько часов подобных раздумий я выпила еще одну таблетку и уснула.

* * *

Наутро Вильям выглядел совершенно разбитым, но заверил меня, что спалось ему превосходно. На нем были вчерашние джинсы и та же синяя футболка, и он как будто постарел. Мы спустились в маленькое кафе при гостинице, кроме нас там никого не было. Но официантка к нам не спешила. Это была немолодая крашеная брюнетка, и она так долго раскладывала столовые приборы на подносе возле кофейников, а потом еще их выравнивала, что мы с Вильямом переглянулись, и он прошептал: «Какого хрена?» Я пожала плечами.

Когда официантка подошла к нам с блокнотом и ручкой и спросила: «Вам чего?» — я сказала, что хотела бы тарелку «Чириос» и банан, а она мне: «Нет у нас хлопьев».

Тогда я заказала болтунью из одного яйца, а Вильям заказал овсянку, и мы приуныли, но только самую малость — я имею в виду, местечко было странное и недружелюбное.

Когда официантка принесла наш заказ, я спросила:

— Пилли, а у тебя были интрижки с Эстель? Ну, то есть когда вы были женаты?

Я сама удивилась, что задала такой вопрос, что он вообще пришел мне в голову.

Вильям застыл с тостом в руке, проглотил кусочек, который только что отправил в рот, и ответил:

— Интрижки? Нет. Может, я и позабавился разок-другой на стороне, но интрижек у меня не было.

— Позабавился?

— С Пэм Карлсон. Но только потому, что мы старые знакомые и у нас был дурацкий романчик когда-то давно, так что это не в счет.

— Пэм Карлсон? — переспросила я. — Та женщина с твоего юбилея?

Вильям бросил на меня взгляд и продолжил жевать.

— Да. Но это все так, пустяки. Мы с ней общались, еще когда она была замужем за Бобом

Берджессом.

— Ты тогда спал с ней?

— Ну так, немножко.

Говоря это, он забыл, что в ту пору был женат на мне. Секунду спустя его лицо озарило осознание.

— Ох, Люси, ну что я могу сказать?

— А ты спал с ней, когда был женат на Джоанне?

— Люси, давай не будем об этом. Но да, и тогда тоже. Но с тобой… Я сразу сказал тебе, что у меня несколько женщин. А еще я сразу сказал тебе, что никого из них не люблю.

— Ладно, — сказала я. — Какая теперь разница.

И мне правда уже было без разницы. Только внутри будто тихонько плескались волны. Но я подумала: «Так, значит, он заводил интрижки не из-за меня, раз он делал это, когда был женат на Джоанне и даже на Эстель? Значит, дело не во мне?» Я ушам своим не верила. Мне вспомнились его слова о том, что мы ничего не решаем. Может, с интрижками он тоже ничего не решал. Откуда мне знать?

Я не знаю.

— Пойдем, — сказал Вильям, расправившись с овсянкой и вытерев усы. Он допил остатки ко-

фе, но нам снова пришлось ждать — на этот раз пока официантка принесет счет. Мне было любопытно, оставит ли ей Вильям щедрые чаевые, и, закатив глаза, он оставил.

* * *

Когда мы ехали обратно в Хоултон, я заметила по краям дороги множество полувысохших зонтиков дикой морковки. Солнце уже поднялось высоко и светило ярко. Из окна мы видели покосившиеся амбары посреди каменистых полей и одиноко пасущихся белых коров. Вильям показал мне еще не убранное картофельное поле, над землей виднелись лишь зеленые вершки, и Вильям объяснил, что их опрыскивают специальным раствором, чтобы питательные вещества шли не в ботву, а в клубни. Меня впечатлили его познания, и я ему об этом сказала, но он ничего не ответил. Через дорогу расстилалось голое поле, с которого недавно собрали урожай ячменя.

Снова картофельные поля, бурые и перекопанные. Я заметила, что погреба для картофеля часто рыли в склонах холмов. На подъезде к Хоултону стоял мотель «Шотландский трактир», он был закрыт, между корпусами росли сорняки.

— Вильям, у твоей матери была бессонница,

— сказала я. Это пришло мне в голову, когда я вспоминала, как провела ночь.

— Правда? — Вильям посмотрел на меня. На нем были солнечные очки; на мне тоже.

— Ну да, — сказала я. — Ты не помнишь?

— Как-то не очень.

— Поэтому она так часто дремала днем на диване. Она говорила: «Я просто не могла уснуть».

— А знаешь, ты права. На Большом Каймане я почти каждую ночь слышал, как она ходит у себя по комнате, и все удивлялся, чего это ей не спится.

Я выглянула в окно. Вдоль кромки поля рядком тянулись деревья.

— Я сама только что об этом вспомнила. Постой-ка. — Я повернулась к Вильяму: — Когда она болела и я сидела у ее постели, она часто шутила про свою бессонницу, а по вечерам говорила: «Пора пить таблетки», и однажды, когда я пошла за ними в аптеку… Или это ее врач мне рассказал, да, это был врач, он рассказал, что она принимает их уже много лет.

— Как строго он хранил врачебную тайну, — саркастично заметил Вильям. — О конфиденциальности он не слышал?

— Нет. Я ему нравилась, — сказала я. И это была

правда.

Некоторое время мы ехали молча, потом я сказала:

— Просто, по-моему, это интересно. Что ее мучила бессонница.

— Люси, тебя саму вечно мучила бессонница, — сказал Вильям, а я ему:

— Да знаю я, дуралей, и я знаю, почему она меня мучила, — из-за того, в какой среде я росла. Я просто хочу сказать — возможно, твою мать мучила бессонница из-за того, что она оставила позади.

— Да понял я, — ответил Вильям и бросил на меня взгляд, но из-за солнечных очков я не знала, что в этом взгляде.

Пару минут спустя Вильям сказал:

— Люси, мы так и не решили, что делать с Лоис Бубар.

— Просто веди машину, — сказала я. — Мы проедем мимо ее дома, а потом остановимся и подумаем.

* * *

Когда мы въехали в Хоултон, от яркого солнца весь город сверкал; кирпичное здание суда, библиотека — все выглядело старинным и очень

уютным, будто город уже давно себе нравится, и река сверкала тоже, и вскоре мы оказались на улице Любезной.

И, проезжая по улице Любезной, мы увидели пожилую женщину в саду перед домом, который разглядывали день назад. Она склонилась над кустом, и на ней была шляпа, и для ее возраста волосы у нее были довольно длинные — красивые такие, русые, почти до плеч, — и во всем ее облике, когда она склонилась над кустом, сквозила молодость; она была в коричневых брюках по щиколотку и синей рубашке, худенькая, но не тощая. В ней была грация, вот что я пытаюсь сказать.

— Вильям! — почти прокричала я. — Это она!

Он слегка сбавил скорость, но женщина не подняла голову, и мы проехали мимо и остановились через квартал.

— Господи боже, Люси.

— Это она, — повторила я, указав рукой в сторону ее дома.

Вильям оглянулся, затем уставился прямо перед собой.

— Мы не знаем наверняка. Может, Лоис Бубар сидит сейчас внутри в инвалидном кресле и ее

избивает собственный сын.

— Может, — согласилась я. А потом сказала: — Вильям, давай я схожу с ней поговорю.

Вильям прищурился:

— И что ты ей скажешь?

— Не знаю. Жди здесь, а я просто схожу с ней поговорю. — Я взяла свою сумочку с длинным ремешком и открыла дверцу. И напоследок спросила: — Хочешь со мной?

— Нет, иди, — сказал Вильям. — Я не знаю, что делать.

Я тоже не знала.

* * *

Подходя к дому номер четырнадцать, я заметила, что сбоку от него между четырьмя деревянными столбами протянуты веревки для сушки одежды. А у крыльца на двух крепких деревьях висит гамак, с виду совсем новый. Как я уже говорила, это был самый красивый дом во всей округе, с синими стенами и красными ставнями. Женщина по-прежнему возилась с кустом — это был розовый куст с приплюснутыми желтыми цветками, — у нее был очень сосредоточенный вид; подойдя поближе, я разглядела у нее в руке распылитель. Я замедлила шаг; я не знала, как

мне быть.

И тут она подняла голову, вроде как улыбнулась мне и вернулась к своим делам.

— Добрый день, — сказала я, остановившись посреди тротуара. Розовый куст был от него недалеко. Она снова на меня посмотрела; за стеклами маленьких очков я увидела ее глаза, это были небольшие глаза, но проницательные.

— Добрый, — ответила она, выпрямившись.

— Красивые розы, — сказала я ей.

А она мне:

— Их посадила еще моя бабушка, а я пытаюсь не дать им умереть. Их поела тля, будь она неладна.

А я ей:

— Да, с тлей хлопот не оберешься.

Она снова занялась кустом, сбрызнула его из распылителя.

Я сказала:

— Их посадила ваша бабушка? Здорово. В смысле, что они растут уже так давно.

Женщина выпрямилась и посмотрела на меня.

— Ага, — сказала она.

Я сдвинула солнечные очки на лоб:

— Меня зовут Люси. Рада встрече.

Женщина не двигалась с места, и я поняла,

что она не собирается пожимать мне руку, но не из чувства враждебности, а просто потому что не собирается. Она посмотрела на небо, потом на сад, потом снова на меня:

— Как, вы сказали, вас зовут?

Она вела себя не враждебно и не дружелюбно.

— Люси, — сказала я. — А вас?

Женщина сняла очки; это были очки для чтения, чтобы лучше видеть тлю, и, как ни странно, без очков она выглядела и старее, и моложе одновременно. Глаза у нее были какие-то голые — я имею в виду, почти без ресниц.

— Лоис, — сказала она. А затем спросила: — Откуда вы, Люси?

Я чуть не сказала «из Нью-Йорка», но вовремя спохватилась.

— Я родом из маленького городка в Иллинойсе, — сказала я.

— И что привело вас в Хоултон, штат Мэн?

Чуть ниже шляпы, вдоль линии роста волос, ее лоб слегка поблескивал от пота.

— Мы… Мы с мужем… В общем, отец моего мужа был немецким военнопленным, и мы приехали что-нибудь о нем разузнать.

Я перевесила сумочку на другое плечо.

— То есть ваш свекор был немецким военно-

пленным? — Лоис посмотрела мне прямо в глаза, и я кивнула. — Он случайно не женился на местной?

— Да. Они уехали в Массачусетс. Он умер, когда моему мужу было четырнадцать.

Секунду-другую Лоис Бубар стояла под палящим солнцем, а потом сказала:

— Не желаете зайти? — И повернулась ко мне спиной и зашагала к боковой двери, и я пошла за ней следом. Внезапно она остановилась и обернулась: — А где ваш муж сейчас?

— Мой бывший муж, извините, я должна была сразу сказать. Мы с ним друзья. Он ждет в машине в квартале отсюда.

Она стояла и смотрела на меня; роста она была невысокого, примерно как я.

— Он подумал…

Но тут она сказала: «Пойдемте» — и снова повернулась ко мне спиной.

Мы прошли через темную прихожую, где на крючках висело множество курток и пальто, и оказались на кухне, и там Лоис сняла шляпу и положила ее на столешницу. «Налить вам воды?» — спросила она, и я сказала, было бы чудесно, большое спасибо.

Пока она наливала в стаканы воду, я обве-

ла взглядом комнату, не поворачивая головы, и в очередной раз убедилась, как мне не нравится бывать в чужих домах. Дом Лоис был вполне ничего — совершенно нормальный дом, только кухня слегка захламлена, хотя другой на моем месте назвал бы ее обжитой, и внутри после улицы темновато, — я лишь хочу сказать, мне никогда не нравились чужие дома. В них всегда непривычно пахнет, и дом Лоис был не исключением.

Лоис протянула мне стакан — я заметила у нее на пальце кольцо, золотое обручальное кольцо, — и мы прошли в гостиную, где было чуточку приятнее: гостиная тоже была слегка захламлена, но из окон лился солнечный свет и повсюду были полки с книгами. Все поверхности были заставлены фотографиями, множеством фотографий в разномастных рамках. В основном это были снимки младенцев и детей с родителями, все в таком духе. В гостиной стояли кресло и синий диван, продавленный посередине, и Лоис устроилась в кресле, положив ноги на пуфик, а я — на продавленном диване. На ногах у нее были резиновые сандалии.

— Ваш бывший муж, — сказала она и отпила из своего стакана.

— Да. Мой второй муж умер в прошлом году,

— сказала я.

Она приподняла брови:

— Соболезную.

— Спасибо.

Лоис поставила стакан на маленький столик у подлокотника кресла.

— Не ждите, что вам станет лучше. Мой муж умер пять лет назад.

Я сказала, что соболезную.

Наступило молчание. Она посмотрела на меня, и мне стало неловко, я почувствовала, что краснею. Наконец она спросила:

— Так чем я могу вам помочь?

— Возможно, ничем, — ответила я. — Как я уже говорила, мы с мужем — бывшим мужем — приехали сюда разузнать что-нибудь о его… скажем так, корнях.

Лоис слегка улыбнулась, и я не могла понять, приветливая это улыбка или нет.

— Он ищет родственников? — спросила она.

Я тихонько и сокрушенно вздохнула:

— Да.

— Значит, ваш бывший муж ищет меня.

— Верно, — сказала я.

— И он сейчас ждет в машине.

— Да, — сказала я.

— Потому что струсил.

Мне захотелось защитить Вильяма, и в то же время я сама немного струсила.

— Он не уверен…

— Послушайте, Люси. — Лоис Бубар потянулась за стаканом, и снова отпила воды, и снова очень аккуратно поставила его на место. — Я знаю, зачем вы здесь. Я еще вчера узнала, что вы приехали, вы с мужем заходили в библиотеку. Это маленький город, но вы сами в таком выросли и, конечно, знаете, как быстро в подобных местах разлетаются слухи.

Мне хотелось сказать: «Нет, не знаю, я росла в полях и почти не видела своего города, и никто в моем городе не хотел с нами общаться», но я этого не сказала. Я ничего не сказала.

И тогда заговорила Лоис Бубар.

— Я прожила очень хорошую жизнь. — Она подняла палец и лаконически так указала на меня. — Я прожила очень, очень хорошую жизнь. Так и передайте своему бывшему мужу.

Она помедлила, обвела комнату взглядом и снова посмотрела на меня. Несколько сдержанно и даже — совсем чуточку — со скукой. За спиной у нее были обои в цветочек, на них виднелся

малюсенький темный подтек.

— Давайте перейдем к сути. — На секунду она задержала взгляд на потолке. — Когда мне было восемь, родители — они сделали это вместе — усадили меня в гостиной и всё мне рассказали, что моя мать… В общем, в тот день я узнала, что родила меня другая женщина. Но они всячески подчеркивали, что та женщина мне не мать. Моя мать — это та, кто воспитывал меня с годовалого возраста. Вот кто моя мать. Она выросла в этом доме… — Лоис обвела рукой гостиную: — И о такой матери можно только мечтать. Она была так ласкова, рассказывая все это, и папа тоже — помню, он прижимал меня к себе. Мы сидели на диване, и он все время одной рукой обнимал меня. Думаю, они сочли, что я уже достаточно взрослая для этой беседы, к тому же кое-кто в городе знал историю нашей семьи, и они решили, что будет лучше, если я обо всем услышу дома, чем от чужих людей. Я немного растерялась, как растерялся бы любой ребенок. Но решила, что все это неважно.

И совершенно правильно. Ведь у меня были любящие родители, у меня было трое младших братьев, которых папа с мамой тоже очень любили. Лучше родителей не найти, просто не найти.

Я наблюдала за ней и видела, что она говорит правду. На глубинном — почти фундаментальном — уровне она чувствовала себя в своей тарелке, как бывает с людьми, которых любили родители.

Лоис сделала еще глоток воды.

— Со временем, немного повзрослев, я начала задавать вопросы, и родители рассказали мне об этой женщине, в девичестве ее звали Кэтрин Коул, и как она сбежала с немецким пленником. В один прекрасный день она ушла из дома, просто взяла и ушла, это было в ноябре, села на поезд и больше не возвращалась. Мне было меньше года. Папа знал про немца, но думал, что все уже в прошлом. Кэтрин вышла за папу еще совсем юной, в восемнадцать лет, а он был на десять лет старше, и он говорил, он всегда намекал, что она вышла за него, чтобы вырваться из дома. — Немного помолчав, Лоис продолжила: — Мою маму звали Мэрилин Смит. — Лоис постучала пальцем по столику: — Она выросла в этом доме, и все вокруг знали, что они с папой созданы друг для друга. Они встречались, а потом у них случилась небольшая размолвка, и тут налетела Кэтрин Коул… — Лоис подняла руки; вода в стакане колыхнулась. — И папа на ней женился. Но когда

Кэтрин меня бросила — и его тоже, — Мэрилин не задумываясь вернулась. Она приходила каждый день, с самого начала, а когда мне было два года, они поженились. Подозреваю, медлили они ради приличия. И конечно, нужно было дождаться развода.

Лоис замолчала. Она поставила стакан с водой на столик, сложила руки на коленях и уставилась на свои ладони. Мне даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Тут у меня в сумочке запищал телефон, это пришло сообщение, и я придавила его локтем, что было очень глупо. Слева от меня стоял снимок в рамке — недавний, крупнее остальных, — снимок юноши на церемонии вручения дипломов.

Лоис снова слегка улыбнулась, и я снова не поняла, приветливая это улыбка или нет. На ее вытянутые ноги упала полоска солнечного света.

И тут она сказала:

— Ваша свекровь представляла вас словами: «Это Люси, она из бедной семьи». Но известно ли вам, какой была ее семья?

Мне пришлось несколько раз прокрутить услышанное в голове.

— Постойте, — сказала я. — Откуда… Откуда вы

знаете? Про мою свекровь, что она так обо мне говорила?

— Вы сами об этом написали.

— Я написала?

— В книге, в своих мемуарах. — Лоис указала на стеллаж по правую руку от меня. Затем подошла к нему и достала с полки мои мемуары — издание в твердой обложке, — и, проследив за ней взглядом, я увидела, что у нее там собраны все мои книги; я была потрясена. — Так известно ли вам, — повторила Лоис, — какой была семья Кэтрин Коул?

Она снова села в кресло; книгу она сперва положила на подлокотник, а затем на столик, где стоял стакан.

— Не совсем, — сказала я.

— Ну что ж, — сказала она с этой своей улыбкой. — Семья Кэтрин Коул была не просто бедной. Они были отребьем.

Это слово было для меня как пощечина. Это слово всегда для меня как пощечина.

Лоис провела рукой по брючине и сказала:

— Коулы всегда были неблагополучной семьей. Непутевые, и все тут. Мать Кэтрин пила, а отец не мог продержаться ни на одной работе. Ходили слухи, что он их бил — жену с детьми, в смысле.

Кто знает. Брат Кэтрин умер в тюрьме в довольно молодом возрасте, подробностей я не знаю. Но она была просто куколка, юная Кэтрин. Фотографий я, конечно, не видела, ее фотографий у нас в доме не было. Но так говорили мои родители — и мама, и папа. Что она была просто куколка. Она решила заполучить моего отца.

Лоис обвела комнату взглядом:

— Как видите, моя мать — Мэрилин Смит — не была отребьем.

— Вижу, — согласилась я.

И тогда Лоис сказала:

— А вы прокатитесь мимо того места, где росла Кэтрин, там уже много лет никто не живет, это на Дикси-роуд. — Она встала, принесла бумагу с ручкой, надела очки и написала адрес. — Надо будет свернуть с Хейнсвиллской дороги. — Она протянула мне листок, села в кресло и сняла очки. Я сказала спасибо. Усаживаясь поудобнее, она добавила: — Съездите заодно к ферме Трасков, я там выросла. Это на Дрюс-Лейк-роуд в Линнеусе, прямо на границе с Нью-Лимериком. — Она встала, забрала у меня листок, снова надела очки и что-то приписала. — Вот, держите, — сказала она, возвращая листок. — Много лет фермой управлял мой брат, а теперь его место заняли его

сыновья. Там все в точности как прежде. В здешних краях ничего не меняется.

И она снова села.

Я была рада, что она села, это значило, что мне еще не пора уходить.

По моей просьбе Лоис рассказала, как ее выбрали «Мисс Картофельный цветок»; по ее словам, это было весело — «Ой, знаете, да, приятно было», — но не лучшее, что с ней случалось в жизни. Лучшим, что с ней случалось в жизни, по ее словам, была встреча с будущим мужем, он приехал в Хоултон из Преск-Айла и стал дантистом. Сама она двадцать семь лет преподавала в третьем классе, а еще они с мужем вырастили четверых детей.

— И все порядочные, — сказала она. — Все до единого. Никаких неприятностей с наркотиками, а это сейчас редкость.

— Как здорово, — сказала я.

— У вас есть внуки, Люси?

— Пока нет.

Лоис задумалась:

— Нет? Тогда вы не знаете, какая это радость. Большей радости не найти. Просто не найти.

Самую малость ее слова пришлись мне не по душе.

— У одного из моих внуков аутизм, и это нелегко, скажу я вам.

— Ой, сочувствую. — Я правда ей сочувствовала.

— Ага. Это нелегко, но у его родителей все схвачено. Ну, насколько это возможно.

— Сочувствую, — снова сказала я.

— Да ничего. Он у нас зайчик. Кроме него, у меня еще семь внуков и внучек, и все они замечательные. Просто замечательные. — Она указала на снимок выпускника в рамке: — Это старший. Окончил Университет Мэна в прошлом году.

— Какой молодец, — сказала я, и у меня в сумке снова запищал телефон.

— Знаете, — продолжала Лоис, — у меня в жизни почти не было сожалений. И это удивительно, потому что я смотрю на окружающих, и они жалеют о многом, ну или должны бы жалеть, но — повторюсь — я чувствую, что прожила очень хорошую жизнь.

Возле кресла, ближе к стене, я заметила стопку женских журналов. Как я уже говорила, комната была немного захламлена, но там было уютно и, не считая темного подтека на обоях, вполне себе чисто.

Лоис задумчиво уставилась в дальний угол:

— Но кое о чем я все-таки жалею… Наверное, это главное мое упущение. — Она снова посмотрела на меня: — Когда та женщина — Кэтрин — пришла меня искать, мне стоило быть с ней повежливей.

— Постойте, — сказала я. — Секундочку. — Я подалась вперед: — Она вас искала? Кэтрин вас искала?

Лоис явно была удивлена:

— Да. Я думала, вы в курсе.

— Нет. — Я откинулась на спинку дивана и тихо повторила: — Нет, мы понятия не имели, что она вас искала.

— О да. Это было летом…

Лоис назвала год, и я сразу поняла, что речь идет о том лете, когда я девять недель провела в больнице, и, пока я там лежала, от Кэтрин почти не было вестей.

— А вышло это вот как. — Лоис скрестила ноги на пуфике. — Кэтрин наняла частного детектива. Интернета тогда не было, поэтому она наняла частного детектива, и он меня нашел — меня несложно было найти — и дал ей этот адрес, и она пришла в этот самый дом и сидела на том самом месте, где сейчас сидите вы.

— Поверить не могу, — сказала я. — Извините, но это просто невероятно.

— О да, и пришла в будний день, когда мой муж был в клинике, а дети работали у дяди на ферме — в те времена все дети так делали, все они летом работали на ферме, — а у меня, как вы понимаете, был отпуск во время школьных каникул, и вот раздается звонок в дверь, а у нас никто никогда не звонит в дверь… — Лоис махнула в сторону входной двери, и я оглянулась. — И я открыла, и на крыльце стояла она…

— Вы узнали ее?

— Как вам сказать… — Лоис задумчиво на меня посмотрела. — В каком-то смысле да. Сразу. Но я тут же подумала: «Это невозможно». — Лоис слегка покачала головой. — И вот она говорит: «Ты знаешь, кто я?» А я ей: «Понятия не имею», а она мне — так и сказала, — она мне: «Я твоя мать, Кэтрин Коул».

Лоис выставила вперед ладони.

— И мне захотелось ответить: «Никакая вы мне не мать», но я не стала. Я лишь сказала холодно: «Проходите, Кэтрин Коул». — Лоис перевела на меня взгляд и кивнула. — Я холодно ее встретила, очень холодно. Моих родителей тогда уже не было в живых, они умерли не так давно, с раз-

ницей в полгода, о чем она, разумеется, знала от этого своего детектива, и я подумала, что с ее стороны очень дурно отправляться искать меня спустя столько лет, видели бы вы, как она вплыла внутрь и уселась, будто мы старые знакомые, а потом еще немного поплакала…

— Она плакала? — переспросила я, и Лоис кивнула и вздохнула, слегка раздувая щеки.

— Но в основном она разговаривала. И знаете еще что? Она была горожанка от макушки до пят. Взять хотя бы платье, в котором она явилась, — я уже потом посчитала, что ей тогда было шестьдесят два, потому что мне было сорок один, — и вот она явилась в платье почти без рукавов. Плечи едва прикрыты. — Лоис коснулась пальцами своего плеча. — Такое темно-синее платье с белой… Ой, ну как она называется, слово забыла, вы знаете, о чем я, такая полоска по краям…

— Окантовка. — Я сразу поняла, о каком платье идет речь. Это было любимое повседневное платье Кэтрин. С белой окантовкой по краям рукавов и вдоль швов по бокам.

— Окантовка. — Лоис кивнула. — И чулок на ней не было, платье доходило ей до колен, и просто — как вам сказать, — просто здесь так не одеваются. Но знаете, что покоробило меня

больше всего? Она говорила только о себе. Нет, пару вопросов она мне, конечно, задала — хотя основные факты ей были уже известны от детектива, — но она просто без умолку… — Лоис покачала головой, — говорила только о себе. Вот о чем она говорила. О себе и о том, как тяжело все это для нее было.

Лоис подалась вперед и снова откинулась на спинку кресла.

— Так что я знаю и про ее бессонницу, и про ее депрессию — «тоску», как она это называла, — и про смерть ее мужа, и про ее сына, но о них я читала еще в вашей книге. Вы знаете, что у нее хватило наглости рассказывать мне об этом человеке, ее сыне? Как она его расхваливала, и — говорю вам, Люси, — можно было подумать, что он величайший ученый на свете. Вовсе не это мне хотелось услышать!

О боже, подумала я. А вслух сказала:

— Конечно. — А потом еще: — Просто у нее больше ничего не осталось. Только сын.

— Да, — сказала Лоис. — Вы правы. — И повторила чуть тише: — Вы правы. — Она уставилась в пол, а затем подняла взгляд: — Я много думала об этом с тех пор, и, наверное, мне стоило проявить чуть больше сострадания. — Лицо Лоис

дрогнуло, и я тут же отвела глаза. — Но вот что я вам скажу: к концу нашей встречи у меня ее сын уже в печенках сидел.

Повисло молчание, затем Лоис продолжила:

— Кэтрин рассказала второму мужу, что у нее был ребенок — я — и что она меня бросила, она рассказала об этом своему немцу. Герхардту. И, по ее словам, это плохо отразилось на их браке.

— Так она ему рассказала? — удивилась я. — А когда именно?

— Точно не знаю. Если честно, я не помню, это было на раннем этапе, но не сразу. И ей больше нечего было добавить, кроме того, что это отразилось на их браке. Понятия не имею, что она имела в виду.

Подперев щеку ладонью, Лоис взглянула на меня и добавила:

— Странно, что она ничего вам не рассказывала.

— Лоис, мой муж узнал о вашем существовании всего пару недель назад.

Это очень ее удивило. Она положила руки на подлокотники:

— Правда?

— Честное слово, — сказала я. — Перед тем

как его бросить, жена подарила ему подписку на сайт, где можно узнать свою родословную, так он вас и нашел. Кэтрин никогда о вас не упоминала — как и его отец. Вильям не знал.

Лоис обдумала услышанное. Затем сказала:

— Ну и ну. — И, покачав головой: — Пару недель назад?

— Да.

— Перед тем, как его бросила жена?

— Да.

— Вы тоже его бросили. Так написано в ваших мемуарах. — Она указала на лежавшую на столике книгу.

— Да.

— Получается, его бросили две жены?

Я кивнула. Я уже пожалела, что упомянула об этом.

Немного помолчав, она с любопытством взглянула на меня и спросила:

— А с ним — как бы это сказать — с ним что-то не так?

— По-моему, он просто выбирает неподходящих женщин.

Лоис ничего не ответила.

Мне стало жалко Вильяма, ждавшего в машине, пока я разговаривала с Лоис.

— Не хотите с ним познакомиться? — предложила я.

И на миг она погрустнела и почти что закрылась, и я сразу поняла, что она не хочет.

— Извините. Я не готова. Я уже немолода, с вами поболтать мне было приятно, но с ним я видеться не хочу. Нет. С ним не хочу.

— Хорошо. — Я потянулась к сумочке, и она встала, и тогда я поняла, что мы закончили.

Лоис проводила меня до парадной двери; та немного заедала, будто ей редко пользовались. И я представила, как Кэтрин вошла в эту дверь много лет назад и села на то место, где сидела я.

Я повернулась к Лоис, и она коснулась рукой моего плеча:

— Когда я начала читать вашу книгу — ваши мемуары, — я очень удивилась, встретив там упоминание о картофельном фермере, моем отце! И я все думала: «Сейчас она и про меня напишет, про то, что женщина сбежала, бросив маленькую дочку». Но вы не написали.

— Потому что я даже не догадывалась, что она бросила не только своего первого мужа.

— Теперь-то я знаю. Но тогда не знала. И знаете что? Глупо, да, но это меня задело. Я снова разозлилась на Кэтрин — и на вас тоже, потому что

вы не упомянули меня в книге.

— Ах, Лоис.

Меня охватило странное чувство нереальности, и в голове немного помутнело, как будто от голода. Но не только.

— Что ж. — Она рассмеялась. — Если будете писать продолжение, не забудьте упомянуть и меня.

— Боже, конечно, — сказала я.

Она снова рассмеялась:

— Но только в хорошем свете.

Когда я взглянула на нее на прощанье, солнце как-то по-особенному падало ей на лицо, и в ее чертах сквозила усталость, и я поняла, что разговор дался ей нелегко; он выжал из нее все соки, и мне стало ее жаль.

* * *

Я так спешила, что у меня заплетались ноги. Наконец показалась машина Вильяма. Он сидел запрокинув голову, и сперва я подумала, что он спит; стекло было опущено. Но как только я подошла поближе, он выглянул в окно.

— Ну что, она хочет со мной увидеться? — спросил он.

Я села в машину, захлопнула дверцу и сказала:

«Поехали», и Вильям завел мотор. Единственное, о чем я умолчала, — это как я проболталась про его жену и что на это ответила Лоис.

Все остальное я выложила без утайки.

* * *

Пока я рассказывала, Вильям несколько раз перебивал меня, прося разъяснить что-то или повторить. Снова и снова мы обсуждали подробности, и Вильям жевал кончики усов, и щурился сквозь лобовое стекло на дорогу, солнечных очков на нем не было, и слушал меня с очень сосредоточенным видом. Наконец он сказал:

— Не уверен, что Лоис Бубар говорит правду.

— Правду о чем? — спросила я.

— О том, что сюда приезжала моя мать. С чего бы моей матери приезжать сюда на этом этапе своей жизни?

Я хотела сказать, что Лоис описала платье, которое было на Кэтрин, но передумала, и Вильям продолжил:

— А еще брат Кэтрин не умирал в тюрьме. Я видел на сайте свидетельство о смерти, и про тюрьму там ничего не сказано.

Я огляделась по сторонам:

— Куда мы едем?

— Без понятия, — ответил Вильям. — Давай найдем ферму Трасков и дом Кэтрин. Ты сказала, у тебя есть адрес?

— У меня есть адрес дома, где она выросла. А ферма Трасков находится на Дрюс-Лейк-роуд в Линнеусе. Номер дома Лоис не указала. Но это прямо на границе с Нью-Лимериком.

— Сейчас разберемся.

Вильям остановил машину и достал айпэд, а я проверила телефон, и там было два новых сообщения от Бекки. В первом говорилось: «Вы с папой снова вместе?» Во втором говорилось: «МАМ, какие новости???» На первое я ответила: «Нет, ангелочек, мы не вместе, но прекрасно ладим». Затем я ответила на второе: «Потом все расскажу!» Вопрос о том, сошлись ли мы с ее отцом, меня удивил. Я убрала телефон в сумку.

— Так, ладно, — сказал Вильям. Он уже отыскал Линнеус, штат Мэн, на своем айпэде и нашел, где там Дрюс-Лейк-роуд, и мы снова двинулись в путь, и через некоторое время показался тот самый дом — дом, где его мать жила с Клайдом Траском и познакомилась с его отцом. Это был дом. Вот первое, что я могу сказать. Но, как я поняла, в этих краях — да и много где еще — такой дом считается почти особняком. С длинной терра-

сой сбоку и черными ставнями на фоне сияющей побелки, он насчитывал три этажа, а рядом был погреб для картофеля — как водится, вырытый в склоне, — и мы остановились напротив дома и стали его разглядывать.

— Я ничего тут не чувствую, Люси, — сказал Вильям. — Далась мне эта ферма.

Я сказала, что понимаю.

Но мы продолжили разглядывать дом и, найдя окна комнаты, где когда-то стояло пианино, на котором играл Вильгельм, оба почувствовали легкое… отвращение, пожалуй, слишком сильное слово, но нам обоим все это было не по душе.

И мы поехали дальше, и вдоль дороги не было ни одной постройки, лишь горстка деревьев, сбрызнутых солнечным светом, а потом мы увидели маленькое почтовое отделение, очень ветхое. «Люси, смотри», — сказал Вильям, и я поняла, что его так растрогало. Это явно было то самое почтовое отделение, куда каждый день ходила его мать проверить, не пришло ли письмо от Вильгельма.

Мы медленно поехали дальше, мы ехали очень медленно, пока не уперлись в рельсы. «Боже, Люси, — сказал Вильям. — Погоди секунду». Впереди виднелась крошечная железнодорожная

станция. Вдоль путей стояли старые склады. Лоис была права: здесь никогда ничего не менялось. Мы припарковались возле станции — вокруг ни души — и, не выходя из машины, смотрели на дорогу, по которой тем снежным ноябрьским вечером шла, то и дело переходя на бег, Кэтрин. Станция была маленькая, обшитая вагонкой. Она скорее напоминала автобусную остановку.

Я живо представила, как юная Кэтрин не то идет, не то бежит по этой темной, продуваемой ветром ноябрьской дороге, без сапог, в легких башмаках, а повсюду сугробы, и без теплой куртки, чтобы себя не выдать; я представила, как она не то идет, не то бежит к станции в темной одежде, с шарфом на голове, как она ждет поезд, и ей страшно, до смерти страшно — как было страшно годами из-за побоев отца, — и, мне кажется, я почувствовала, какие мысли крутились у нее в голове:

Если Вильгельма не будет, когда я приеду в Бостон, я покончу с собой.

* * *

— Сраная Лоис Бубар, — сказал Вильям.

Я быстро взглянула на него. Мы ехали обратно

к шоссе.

— Вот бы ее в помине не было, — сказал он. Затем огладил усы и уставился на дорогу. — Она хочет, чтобы ты упомянула ее в книге? Но только в хорошем свете? Господи, Люси. И, по ее словам, она жалеет лишь о том, что была недостаточно приветлива с моей матерью? А потом, когда приезжаю я, она меня даже видеть не хочет? Нет, ну что за дерьмо, а не человек.

И я вспомнила про воспитательницу, которая больше никогда не брала его на руки.

* * *

После первого курса я устроилась работать в приемную комиссию — водила абитуриентов по кампусу. Как мне это нравилось! Я была очень рада, что у меня есть работа и не нужно возвращаться домой на лето, а еще мне очень нравился наш колледж, и я с удовольствием рассказывала людям, как он мне нравится. А упоминаю я об этом вот почему: в приемной комиссии работал один человек, он не был ее главой, но тогда он казался мне большой шишкой, он был лет на десять меня старше, и я ему приглянулась — и помню, что пару раз ходила с ним на свидание, только не помню куда. Разумеется, у него была

машина, но тогда мне казалось, что иметь машину — это так по-взрослому, и, когда я впервые села в нее и увидела подстаканники на дверцах, я подумала: «Ничего себе!» Подстаканники были для меня верхом взрослости, вот только я чувствовала, что это не совсем мое. Но мужчина мне нравился — возможно, я была в него влюблена. Я влюблялась во всех, кого встречала. Как-то вечером, когда он подкинул меня до дома, где я снимала квартиру с друзьями по колледжу (друзьями!), он прислонил меня к дверце машины, поцеловал и прошептал мне на ухо: «Эй, тигренок», и я подумала… Уже не помню, что я подумала. Но после того вечера, когда мы поцеловались, он меня больше никуда не звал, а пару месяцев спустя женился на секретарше из приемной комиссии; симпатичная девушка, она всегда мне нравилась.

Зачем я это рассказываю: мы знаем, кто мы, сами о том не догадываясь.

И мужчина из приемной комиссии понял, что я не тот человек, который будет откликаться на «тигренка» и для него придумывать подобные прозвища, к тому же я так и не смирилась с подстаканниками; я не расстроилась, что он больше никуда меня не звал, меня всегда немно-

го удивляло, что я вообще ему понравилась. Но вернемся к сути! А суть вот в чем: что такого мы с Вильямом разглядели друг в дружке, раз решили пожениться?

* * *

Над Хейнсвиллской дорогой[3] висела зловещая тишина. Много миль нам не попадалось ни одной машины. Было в этой дороге что-то гнетущее: взгляд выхватывал то пни по обочинам, то болота с мертвыми деревьями. В одном месте росли яблони с мелкими плодами, и, по словам Вильяма, это значило, что когда-то здесь были фермы, и так мы ехали некоторое время. Казалось, все слегка выжжено солнцем.

Затем нам попался знак с гигантской головой Санта-Клауса: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛИ ЧЕРЕЗ 300 ФУТОВ. Но через триста футов мы ничего не увидели, все тот же однообразный пейзаж.

Я никак не могла избавиться от чувства страха. По обеим сторонам дороги тянулись болота с мертвыми деревьями, и засохшие стволы

---

**[3] Примечания: 3**

Хейнсвиллская дорога, или Хейнсвиллский лес, — неофициальное название участка трассы 2А на севере Мэна. На этом «заколдованном» участке случалось много аварий и, по словам автомобилистов, обитают призраки.

розовато поблескивали, и повсюду росли сорняки, чем-то похожие на клевер, я таких раньше не видела. Мы проехали мимо баптистской церкви — она стояла на пустыре, — и Вильям сказал: «Возможно, здесь Кэтрин вышла за Клайда Траска». Сказал он это с явным безразличием, будто считал, что его настоящая мать — это женщина, которая его вырастила, жившая в Ньютоне, штат Массачусетс, а та, кто жила здесь, его не интересует; такое у меня сложилось впечатление.

И тут — неожиданно — у дороги показался диван. Небольшой диван с цветастой обивкой стоял на обочине, просто стоял, а на сиденье валялась лампа. Но за ним начинался поворот на узкую дорогу, и, когда мы притормозили, чтобы получше разглядеть диван, я заметила указатель на Дикси-роуд. «Вильям», — сказала я, и Вильям резко свернул. На листке, который дала мне Лоис, было написано: «Дикси-роуд, последний дом», но поначалу никаких домов мы не видели, а потом мы проехали мимо хижины, перед которой стоял старик; голый по пояс, бородатый, он проводил нас полным ярости взглядом, на меня с детства не смотрели с такой яростью чужие люди, и я очень испугалась. Пошла грунтовка, и справа мы увидели два маленьких дома,

потом долгое время мы не видели ничего и никого, и вот наконец показался последний дом. Похоже, он уже много лет стоял заброшенный. Такого крошечного домишки я в жизни не видела. Я росла в очень маленьком доме, но и тот был гораздо просторнее. Здесь же был всего один этаж, а в нем, похоже, только две комнаты. Рядом притулился крошечный гараж. Из-под плоской провисшей крыши дома — казалось, она вот-вот обрушится посередине — выглядывали бордовые стены.

Я не верила своим глазам.

Лицо Вильяма не выражало никаких эмоций — наверное, от шока.

— И здесь выросла моя мать? — сказал он.

— Может, Лоис перепутала адрес?

— Нет, перед поездкой я сам его нашел. Дикси-роуд.

Мы сидели в машине и смотрели на дом. Над гаражом нависали ветви дерева, захудалые кусты, росшие по бокам от крыльца, доходили до самых окон.

Это был очень — очень — маленький дом.

Вильям выключил зажигание, и повисла тишина. В доме было темно, сквозь стекла ничего не разглядеть. Я с трудом могла вообразить, как

в этих комнатах живут люди. Весь участок зарос высокой травой, к стенам дома почти вплотную подступали молодые деревья. Два дерева даже проросли сквозь пол и готовую обрушиться крышу.

У Вильяма был такой потрясенный вид, что у меня сжалось сердце. И я его понимала: в жизни бы не подумала, что Кэтрин здесь выросла. Вильям бросил на меня взгляд:

— Готова?

— Поехали, — сказала я.

И тогда он завел машину и поехал дальше, дорога была слишком узкая, чтобы на ней развернуться, а когда мы уткнулись в тупик, Вильям, осторожно маневрируя, все-таки сумел развернуться, и мы поехали обратно. Старик по-прежнему стоял перед домом, провожая нас яростным взглядом.

Диван с обочины исчез.

— Это какой-то фильм ужасов, — сказал Вильям.

* * *

Наш самолет вылетал в пять, и в Бангор мы возвращались в молчании. Мы проехали мимо ресторана с облупившейся краской на фасаде, он

явно закрылся уже давно, но на дверях висела табличка с квадратным шрифтом:

У МЕНЯ ОДНОГО ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЮДИ,

КОТОРЫЕ МНЕ НРАВЯТСЯ?

Немного спустя я сказала:

— Вильям?

А он мне:

— Что?

А я ему:

— Ничего. — А потом: — Вильям, ты женился на своей матери. — Я сказала это очень тихо.

Он посмотрел на меня:

— Ты о чем?

— Мы с ней очень похожи. Она тоже росла в нищете и, возможно, с отцом, который… В общем, она… Я не знаю, как тебе объяснить. Но ты выбрал тот же типаж. В мире столько разных женщин, а ты женился на такой, как твоя мать. Я… Я даже бросила своих детей.

Вильям притормозил у обочины. Он молча смотрел на меня. Я уже почти отвела взгляд, давно он так долго на меня не смотрел. Но тут Вильям сказал:

— Люси, я женился на тебе, потому что ты светилась от радости. Ты просто светилась от ра-

дости. А когда я наконец понял, где ты росла, — когда мы приехали к твоим родителям объявить, что женимся, — Люси, я чуть не умер, увидев, где ты росла. Я об этом даже не догадывался. И я все думал: «Как ей это удалось? Как можно расти в таком доме и стать таким жизнерадостным человеком?» — Он медленно покачал головой. — И я до сих пор не знаю, как тебе это удалось. Ты особенная, Люси. Ты — внеземное создание. Помнишь, когда нас возили к баракам, тебе показалось, что ты проскользнула между мирами? Так вот, я тебе верю, потому что ты — внеземное создание. На всем белом свете ты такая одна. — Затем он добавил: — Ты завоевываешь сердца, Люси.

И снова завел мотор.

Обдумывая его слова, я вспомнила, какое счастье захлестнуло меня, когда я села в машину миссис Нэш.

— Ах, Пилли, — тихо сказала я.

Но Вильям погрузился в молчание.

* * *

А потом он начал закрываться. Прямо у меня на глазах. Его лицо — странное дело, — лицо его в такие моменты почти не меняется, но все, что

за ним, куда-то прячется. Он уходит в себя, вот что я пытаюсь сказать. И по пути в аэропорт его лицо стало как раз таким.

Чтобы разбавить молчание, я сказала:

— У нас очень американская история.

— Почему? — спросил Вильям.

— Потому что наши отцы воевали по разные стороны фронта, — сказала я. — А твоя мать росла в бедности, и я тоже, но посмотри на нас теперь, мы оба живем в Нью-Йорке и добились успеха.

И тогда, не глядя на меня, Вильям сказал — он сказал это мгновенно:

— Это называется американская мечта. А ты подумай, у скольких людей она так и не сбылась. Вспомни машину ветерана, забитую мусором, которую мы вчера видели.

Я отвернулась к окну. Мне вдруг пришло в голову, что старик с Дикси-роуд, смотревший на нас с такой яростью, по возрасту годился в ветераны войны во Вьетнаме — возможно, это и есть его история. Я уже упоминала, что в детстве почти ничего не знала о войне во Вьетнаме, мы жили очень изолированно, к тому же у меня, школьницы, не было знакомых призывного возраста. Но, когда я поступила в колледж и встретила Вильяма, все стало иначе.

— Тебе так повезло с Вьетнамом, — сказала я. — С номером в призывной лотерее. Только подумай, как могла бы сложиться твоя судьба.

— Я думаю об этом всю жизнь, — сказал Вильям. И вновь погрузился в молчание.

В этот момент я осознала, что, вызвавшись поговорить с Лоис Бубар, лишила Вильяма чего-то важного. Если бы только я повременила, хоть минутку подумала и привела его с собой, не исключено, что Лоис и с ним была бы так же приветлива. Эта мысль не давала мне покоя. Глядя, как Вильям ведет машину с этим своим непроницаемым лицом, я вспомнила, какими словами он меня встретил: «Она хочет со мной увидеться?»

А мне пришлось сказать «нет». Лицо Вильяма, это его хорошо знакомое выражение легкого недоумения. И я подумала: вот еще одна женщина, которая — с точки зрения Вильяма — его отвергла. А потом я подумала про воспитательницу, переставшую брать его на руки, когда он уже привык чувствовать себя особенным. И еще я подумала — вдруг его записали в детский сад из-за того, что Кэтрин рассказала Вильгельму о брошенной дочери и это плохо отразилось на их браке, и, может, Кэтрин вообще тогда была

не в состоянии заботиться о ребенке? Звучало вполне логично.

И тогда я сказала:

— Вильям, прости, что я убежала и одна познакомилась с Лоис Бубар. Надо было взять тебя с собой, а я просто выскочила из машины…

Он бросил на меня взгляд:

— Люси, да какая разница. Ну серьезно. Не познакомился я с ней, и ладно. Мне было страшно, а ты пыталась помочь. — Немного помолчав, он добавил: — Не волнуйся ты. Тоже мне.

Но лицо его не стало прежним.

* * *

Мы заехали на парковку аэропорта, она была огромная и пустая. Несмотря на ее пустоту, мы не сразу разобрались, куда ставить машину, пришлось сделать несколько кругов, затем мы достали чемоданы и покатили их ко входу. Аэропорт выглядел — как мне показалось — еще страннее, чем когда мы прилетели. Он был маленький. И при этом какой-то иноземный, я ощутила это, едва мы попали внутрь. Ни кафе, ни палаток с едой там не было. Время близилось к трем.

Не успели мы дойти до стойки регистрации, как Вильям сказал:

— Знаешь, Люси, мне надо проветриться.

— Ладно, — сказала я. — Составить тебе компанию? (Он помотал головой.) Тогда посторожу чемоданы.

Но я проголодалась, а перекусить было негде, и я потащилась — с двумя чемоданами — по крытому переходу в отель, но, пройдя через двойные двери, сразу увидела, что ресторан не работает. На баре висела табличка: «Закрыто до 17:00». Я тяжело вздохнула и развернулась. «В этом штате вообще когда-нибудь едят?» — подумала я. И как только я это подумала, мой взгляд упал на самого толстого человека, какого я когда-либо видела. Он пытался протиснуться в двойные двери, через которые я только что прошла, он открыл одну створку, но этого оказалось недостаточно. Он не выглядел старым, ему могло быть и тридцать. Но штаны у него раздувались, словно паруса, а лицо утопало в складках жира. Я отпустила ручку чемодана и потянула на себя вторую створку двери, и он улыбнулся, несколько пристыженно, и я сказала: «Прошу», а он мне: «Спасибо» — с застенчивой улыбкой — и зашагал к стойке администратора.

Идя обратно по переходу, я подумала: «Я знаю, каково этому толстяку» (хотя, разумеется, я этого не знала). Но я подумала: «Как странно, я чувствую себя невидимкой, но, с другой стороны, я знаю, каково это — носить клеймо инаковости, только в моем случае клеймо замечают не сразу». Вот что я подумала о том толстяке. И о себе.

В окно зала регистрации я увидела, как Вильям шагает по огромной парковке, сначала он шагал в один ее конец, пока не превратился в маленькую точку, после этого шагал обратно, затем остановился и долго-долго качал головой. А потом снова зашагал по парковке.

Ах, Вильям, подумала я.

Ах, Вильям…

* * *

Пока мы ждали рейс, я взглянула на Вильяма. Знакомое выражение лица: он снова ушел в себя. «Давай ты сама расскажешь девочкам о поездке, — попросил он. — Мне что-то не хочется». И я пообещала, что расскажу. Мы прошли в самолет; это был маленький самолет, и наш багаж никак не помещался на верхнюю полку, и тогда стюард — приятный юноша — забрал

наши чемоданы и сказал, что они будут ждать нас на телетрапе, уже по прилете.

Вильям сидел возле прохода — у него ноги длиннее, — и мы болтали о разных пустяках, потом он безжизненным голосом снова заговорил о том, как Лоис Бубар не захотела с ним видеться, а потом мы устроились поудобнее, и полет был недолгим. Увидев в иллюминатор Нью-Йорк, я испытала то, что испытываю почти каждый раз, когда прилетаю сюда, — благоговение напополам с признательностью за то, что этот огромный, разлапистый город принял меня — позволил мне в нем жить. Вот что я испытываю почти каждый раз, когда вижу его с высоты. Меня захлестнуло чувство благодарности, и, повернувшись к Вильяму, чтобы ему об этом сказать, я увидела, что по щеке у него катится капля, а когда он взглянул на меня, я увидела каплю и на другой щеке. И подумала: «Ах, Вильям…»

Но он помотал головой в знак того, что ему не нужна поддержка, — разве бывают люди, которым не нужна поддержка? — но ему не нужна была моя поддержка, и, пока мы ждали багаж на телетрапе, он молчал и больше не плакал. Он просто еще глубже ушел в себя, он делал это с тех самых пор, как мы уехали из Хоултона. Когда мы

вышли на стоянку такси, Вильям залез в машину и сказал на прощанье:

— Спасибо, Люси. Я тебе позвоню.

Но он не позвонил. Он еще долго не звонил.

* * *

Проезжая по мосту, — уже в своем такси — я вдруг вспомнила, как мучилась в первые годы нашего брака, когда мы снимали квартиру в Виллидже. Это было из-за родителей, порой на меня накатывало чувство, что я их бросила, — ведь так оно и было — и тогда я садилась на кровать в нашей маленькой спальне и рыдала от нестерпимой боли, а Вильям заходил в комнату и говорил: «Люси, что с тобой? Не молчи». А я просто мотала головой, пока он не уйдет.

Как ужасно я поступала!

Раньше мне это не приходило в голову. Не позволять мужу утешать себя — как это жестоко!

А я и не догадывалась.

Такова жизнь: мы о многом не догадываемся, пока не станет поздно.

* * *

Когда я вернулась к себе в квартиру, там бы-

ло очень пусто. И я знала, что там всегда будет пусто, что Дэвид уже не войдет, прихрамывая, в эти двери, и мне вдруг стало безумно одиноко. Я отвезла чемодан в спальню, села на диван в гостиной и взглянула на реку, и пустота вокруг внушала ужас.

«Мамулечка! — взмолилась я к матери, которую однажды сама себе придумала. — Мамулечка, мне больно!»

И мать, которую я однажды сама себе придумала, ответила: «Ничего, солнышко. Ничего».

И вот что мне вспомнилось.

Когда-то давно я смотрела документальный фильм про заключенных женских тюрем и их детей, и там была одна женщина, очень крупная, с милым лицом, на коленях у которой сидел маленький мальчик лет четырех. В фильме говорилось, как важно не разлучать детей с матерями, и в этой тюрьме им разрешалось видеться в рамках нового — по тем временам — подхода. И маленький мальчик, сидевший на коленях у этой огромной женщины, взглянул на нее и тихо сказал: «Я люблю тебя больше, чем Бога».

Никогда этого не забуду.

* * *

В субботу мы с девочками встретились в «Блумингдейле». Было очень приятно повидаться с ними, да и вообще увидеть в магазине столько народа. Считается, что в конце августа все богатые ньюйоркцы уезжают в Хэмптоны[4], но прежний контингент никуда не делся: тонкие, как тростинки, престарелые дамы с подтяжкой лица и большущими губами. Я смотрела на них с любовью; я любила их, вот что я пытаюсь сказать.

Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна. Крисси рассмеялась и поцеловала меня.

— Врач сказал ничего не делать три месяца и даже не волноваться об этом, а три месяца еще не прошло, так что и ты не волнуйся.

Я ответила:

— Хорошо. Я и не волнуюсь.

Когда мы сели за столик, девочки сказали:

— Выкладывай все!

---

**[4] Примечания: 4**

Хэмптоны — общее название городов Саут-Хэмптон и Ист-Хэмптон в восточной части Лонг-Айленда, а также входящих в их состав деревень и поселков. В этих местах много дорогих вилл и фешенебельных курортов.

И я принялась рассказывать обо всем, что случилось в Мэне, и они очень внимательно слушали. Узнав о прошлом Кэтрин, они не могли поверить своим ушам.

В конце я спросила:

— Вы с ним разговаривали?

Девочки кивнули, и Крисси сказала:

— Но он ведет себя как говнюк.

— В каком смысле?

— Из него слова не вытянешь. Сама знаешь, каким он бывает. — Крисси откинула волосы назад.

— По-моему, папу все это очень задело, — сказала я, переводя взгляд с одной дочки на другую. — Ему ведь прилетело вдвойне: сначала его бросила Эстель, а потом с ним не захотела общаться единоутробная сестра. Даже втройне. Ведь он еще и увидел дом своей матери. Девочки, это было просто — просто — ужасно. Он понятия не имел, что она выросла в таком месте. Ни малейшего понятия.

Когда я описала дом, в котором провела детство Кэтрин, девочки — как и мы с Вильямом — были потрясены.

— В голове не укладывается, она ведь играла в гольф, — сказала Крисси. И я прекрасно ее по-

нимала.

Крисси слизнула с ложки замороженный йогурт и добавила:

— Знаешь, мам, я чувствую себя в ответе за Бриджет, хоть мне это и не нравится.

— Как у нее дела?

— Она страдает, мам, — сказала Бекка. — И это очень грустно.

— Вы с ней виделись?

И девочки рассказали, что пили чай с Бриджет пару дней назад; меня это удивило и растрогало. Они водили ее в ресторан при отеле.

— Она была с нами приветлива, — добавила Крисси. — И мы с ней тоже, но ей очень грустно. Было нелегко.

— Может, зря мы устроили это дурацкое чаепитие, — сказала Бекка. — Но что еще с ней делать? Мы думали про кино, но подходящего фильма не нашли. Может, стоило пройтись с ней по магазинам.

— Боже… — сказала я. — Но, Крисси, почему ты чувствуешь себя в ответе за Бриджет?

— Не знаю, — сказала Крисси. — Наверное, потому, что она моя сестра.

— Вы молодцы, что встретились с ней.

Девочки лишь пожали плечами. Затем Бекка

сказала:

— Прости, что написала то сообщение про вас с папой.

— Ничего, я понимаю, почему могло показаться, что мы снова вместе, — ответила я.

— Правда? — удивилась Крисси.

— Ну конечно. Но сходиться мы не собираемся.

— Разумно, — сказала Крисси. А затем добавила: — Просто невероятно, что эта Кэтрин из твоего рассказа и есть наша бабушка. Она казалась мне самым обыкновенным человеком на свете. Я любила ее.

— Я тоже ее любила, — сказала Бекка.

И они начали вспоминать бабушку, какой у нее был дом, и какой там стоял диван мандаринового цвета, и как крепко она их обнимала.

— Она готова была задушить меня в объятиях, — сказала Бекка. — Я очень ее любила.

Действительно, согласилась я, просто невероятно, что у их бабушки была такая жизнь, а они об этом даже не подозревали, и мы с Вильямом тоже.

Потом девочки снова заговорили о Лоис Бубар.

— Но она тебе понравилась? — спросила Бекка, и я сказала:

— В принципе, да. Не забывайте, она годами

думала, что папа о ней знает. Так что, учитывая все случившееся, она была очень любезна.

— Любезная с улицы Любезной, — сказала Крисси.

— Да, с улицы Любезной.

— Такое теперь сплошь и рядом, — сказала Бекка. — Из-за этих сайтов с родословными.

Один ее знакомый, пояснила Бекка, недавно узнал, что он наполовину норвежец, — оказалось, его отец ему не родной. А его родной отец был норвежцем.

— Почтальоном, как в анекдоте, — добавила она.

— Да быть не может, — сказала Крисси.

Но Бекка кивнула и повторила, что отец ее знакомого оказался почтальоном, как в анекдоте. Родом из Норвегии.

Я рассказала девочкам, как мы с Вильямом сидели в машине возле железнодорожной станции и представляли побег его матери и как он потом назвал Лоис Бубар сраной.

— Меня это удивило, — сказала я.

— Тебя удивило, что папа так ее назвал? — спросила Крисси, вытирая губы салфеткой.

— В тот момент — да. Немного.

— С ним не захотела общаться единоутробная

сестра, — сказала Крисси. А потом добавила: — Но папа и правда иногда ведет себя по-детски. В смысле, я понимаю, почему она не захотела с ним общаться.

— Но она-то не знала про эту его… детскость.

— Это понятно. Я не то имела в виду.

— Но он все-таки ей брат, — сказала Бекка. — Разве это не веский повод с ним увидеться?

Крисси задумалась, а потом сказала:

— Как бы ты себя чувствовала, если бы Бриджет пришла к нам лет через сорок и заявила… Ну, то есть, представь, что она просто свалилась с неба, и мы ее никогда раньше не видели, и она начинает рассказывать, каким наш папа был чудесным отцом.

— Ты это к чему? — спросила Бекка.

Но я поняла, о чем говорит Крисси. О ревности между детьми.

Мне захотелось написать Вильяму: «Не будь говнюком и позвони девочкам».

Но я не стала.

Когда пришло время прощаться, мне стало грустно; мы обнялись, и я сказала девочкам, что люблю их, и они сказали, что они меня тоже.

Возвращаясь домой, я размышляла над тем,

что девочки повели Бриджет в ресторан. Зная Бриджет и зная моих девочек, ничего странного я в этом не видела, но мне вдруг вспомнился крошечный домик, в котором я выросла, и я подумала… Нет, у меня не получится объяснить, что я подумала! Но мне с трудом верилось, что мои дети — нас разделяет всего поколение — так отличаются, так сильно отличаются от меня и от среды, где я росла. И от среды, где росла Кэтрин. Не знаю почему, но этот контраст меня поразил.

А потом я почему-то представила, как выглядела бы Кэтрин, будь она до сих пор жива. Внутри у меня все сжалось, такая она была дряхлая, и меня охватила печаль, глубокая печаль, какую мы ощущаем, представляя своих детей в старости, некогда цветущие лица — бледные и пожухлые, руки-ноги не гнутся, их время вышло, а мы ничем не можем им помочь…

(Немыслимо, но это случится.)

* * *

Я не раз спрашивала себя, почему мне захотелось вернуть девичью фамилию, как только умерла Кэтрин. Я смутно припоминаю, что как бы

открещивалась от нее, что ее было в нашем браке слишком много. Не знаю, все это было очень давно. Но Вильяму — я только сейчас вспомнила, — Вильяму после смерти Кэтрин приснилось, будто она везет нас куда-то в машине, и Вильям сидит спереди, а я сзади, и Кэтрин постоянно врезается в другие автомобили.

Ах, Кэтрин, подумала я…

Мне нравилось за ней ухаживать. Когда она заболела, я имею в виду. Мне казалось, мы с ней стали очень близки. Думаю, так и было.

Но после смерти Кэтрин ее лучшая подруга — за два месяца ни разу ее не навестившая — сказала мне: «Кэтрин очень хорошо к тебе относилась. — И добавила: — Она знала… Ну, то есть, она понимала, что раньше… Ну… — Подруга махнула рукой. — Она очень хорошо к тебе относилась, правда». Я не стала уточнять, что она имеет в виду, это не в моем характере. Я просто сказала: «Я тоже очень хорошо к ней относилась. Я любила ее». А сама почувствовала — и до сих пор чувствую — укольчик предательства. Кэтрин сказала обо мне что-то (почти?) плохое, и это удивило и ранило меня.

Но странное дело. После ее смерти я подумала: «Зато теперь я могу сама выбирать себе

одежду» — и вскоре пошла и купила ночную рубашку.

* * *

Через две недели после приезда я позвонила Вильяму. Я позвонила узнать, как у него дела, и он ответил: «Потихоньку». Разговаривать ему явно не хотелось — возможно, он спешил на свидание с очередной Пэм Карлсон — или с настоящей Пэм Карлсон? — я бы не удивилась.

Но я чувствовала себя ужасно. Совсем как после смерти Дэвида; я чувствовала себя ужасно с тех самых пор, как не стало моего любимого человека, а в Мэн поехала, чтобы отвлечься, теперь я это видела. Чтобы отвлечься от боли утраты.

Но Дэвида больше нет, а Вильям жив.

Вот вам правда: каждый вечер, возвращаясь домой из магазина или после встречи с подругой, я представляла, что на первом этаже в вестибюле меня ждет Вильям, и вот он медленно встает с кресла и говорит: «Привет, Люси». Я представляла это снова и снова, втайне думая: «Он ко мне вернется».

Но он не вернулся.

* * *

Вскоре после этого, в сентябре, я столкнулась с Эстель. В Виллидже на Бликер-стрит есть магазин для… как бы это сказать… для тех, кто увлекается модой, там много таких магазинов, но этот, я знала, нравится моей Крисси, а у нее как раз близился день рождения, так что я поехала в Виллидж и зашла в этот магазин, и там была женщина, она бросила на меня взгляд и отвернулась, а потом снова посмотрела на меня, и это оказалась Эстель — похоже, она надеялась, что я ее не замечу.

— Привет, Люси, — сказала она, и я сказала:

— Привет, Эстель.

Она не потянулась поцеловать меня, и я тоже не двинулась с места.

— Как дела? — спросила я.

Она сказала, что все нормально. Она как будто постарела. Волосы у нее были длиннее обычного, и если раньше я всегда восхищалась их непокорностью, то теперь они придавали ей немного сумасшедший вид; это ее не красило, вот что я хочу сказать.

— Как Вильям? — спросила Эстель.

— Ну так, ничего. — Я вяло улыбнулась; я все

еще сердилась на нее.

— Ясно… — Эстель не знала, что еще добавить, а я не спешила ей на помощь. В конце концов она сказала: — Крисси с Беккой, у них все в порядке?

Точно, подумала я, теперь ведь некому держать ее в курсе событий, кроме разве что Бриджет.

— У Крисси был выкидыш перед тем, как я… — нерешительно начала она.

Я сказала, что Крисси обратилась к специалисту, и Эстель сочувственно охнула и потрепала меня по руке. Я все еще не спешила ей на помощь. Но тут мне пришло в голову, что надо спросить, как дела у Бриджет.

— Нормально. Ну, сама понимаешь, — сказала Эстель.

Мне хотелось добавить: «Я слышала, ей очень грустно». Но я просто стояла на месте, и в конце концов Эстель сказала:

— Ну ладно, Люси, еще увидимся.

Но когда она направилась к двери, я мельком увидела ее лицо, и там было столько боли, что мое сердце распахнулось, и я окликнула ее:

— Эстель, подожди! — И, когда она обернулась, сказала: — Живи как живется, а о нас не беспокойся. — Или что-то вроде того; я повела себя некрасиво и теперь пыталась это исправить.

И, кажется, она поняла.

— Знаешь, Люси, — сказала она прочувствованно, — когда жена уходит от мужа, все сочувствуют мужу, и правильно делают! Но никто не учитывает… — Ее взгляд поблуждал по комнате и остановился на мне. — Никто не учитывает, что мне тоже нелегко, знаю, мы сейчас не об этом и я не пуп земли, но никто не учитывает, что для меня это тоже утрата. Как и для Бриджет.

В тот миг я почти полюбила ее.

— Я прекрасно понимаю, о чем ты, Эстель, — сказала я.

И, должно быть, она все прочитала у меня на лице — она обняла меня, и поцеловала в щеку, и проговорила сквозь слезы:

— Спасибо, Люси. — Затем отступила на шаг и, взглянув на меня, сказала: — Ах, Люси, как здорово, что мы встретились!

Две недели спустя я увидела ее в Челси, я там почти не бываю, но в тот день я навещала подругу, которая сняла там жилье, и Эстель шла под руку с мужчиной — не с тем, что с юбилея, этот выглядел постарше, по возрасту ближе к Вильяму, — и они увлеченно беседовали, и не смотреть на них было очень легко: я шла по другой стороне улицы.

Вот так.

* * *

Я все думала о Лоис Бубар, какая она вышла полноценная; как я уже говорила, по ней было видно, что на глубинном уровне она чувствует себя в своей тарелке. Ее дом был заставлен фотографиями родных, в нем выросла ее мать. Я тихо недоумевала, представляя, как она живет в этом доме своей матери и ухаживает за розовым кустом своей бабушки. Но с чего бы мне удивляться? Наверное, все дело в том, что она и правда ощущала себя там как дома, а я всегда была этого чувства лишена. Мать любила ее, Лоис повторила это не раз. Разумеется, она говорила о Мэрилин Смит, второй жене своего отца. Но Лоис Бубар была не похожа на человека, которым пренебрегали в первый год жизни. Наверное, Кэтрин тоже ее любила. Брала на руки и прижимала к себе, волновалась из-за первой болезни, радовалась, когда малышка впервые встала на ноги, держась за прутья детской кроватки. Наверное, так и было, говорила я себе.

Нам этого уже не узнать.

Зато я точно знаю, что моя мать была другой. И какую цену я за это заплатила, и какую громад-

ную цену заплатили мои брат и сестра.

Когда я училась на первом курсе, наш преподаватель английского часто приглашал группу к себе в гости (группа у нас была небольшая). Там мы виделись с его женой. Со временем я сдружилась с преподавателем и его женой, и раз она сказала мне — я тогда уже была старшекурсницей, — она сказала:

— Никогда не забуду, как впервые увидела тебя у нас дома. Я сразу подумала: «Эта девочка совершенно не знает себе цену».

Я не стану излагать историю своего брата — это слишком болезненно. Он добрый человек, всю жизнь проживший в доме наших родителей. Насколько мне известно, у него никогда не было девушки — или молодого человека.

Говорить о судьбе сестры тоже больно. Характер у нее боевой, думаю, это ей помогло. У нее пятеро детей, младшая пошла по моим стопам: поступила в колледж по стипендии. Но спустя год вернулась домой, теперь она работает в том же доме престарелых, что и моя сестра.

Судьбы моих брата с сестрой — я вижу это все отчетливее, хотя туман еще не рассеялся — не по-

хожи на судьбы людей, с рождения окруженных любовью.

Я иногда удивляюсь — как удивлялась и та милейшая женщина, мой психиатр, — как это я вообще способна любить. Она сказала: «На вашем месте, Люси, многие даже пытаться бы не стали». Что же такое похожее на радость разглядел во мне Вильям?

Это и была радость.

Но как?

* * *

В студенческие годы, когда я уже снимала квартиру с друзьями — хотя большую часть времени жила у Вильяма, — по пути на занятия я проходила мимо одного дома, и у женщины, которая там жила, были дети, и каждый день я видела ее в окно, она была красивая — как мне кажется, — и по праздникам стол у них ломился от угощения, и дети, уже почти взрослые, сидели за этим столом, а ее муж — я предполагала, что он ей муж, — сидел во главе, и я проходила мимо их окон и думала: «Вот какой я стану. Вот что у меня будет».

Но я писатель.

А это призвание. Помню, единственный человек, хоть чему-то меня научивший по части писательства, дал мне совет: «Не залезай в долги и не заводи детей».

Но завести детей мне хотелось больше, чем писать. И я их завела. Но и писать мне было необходимо.

В последнее время я иногда думаю: «Жаль, что все не сложилось иначе», и, пусть это сентиментально и глупо, пусть это полная ерунда, в голове у меня мелькает:

«Я бы все отдала, весь свой писательский успех, я отдала бы все — и глазом не моргнув, я бы все отдала — в обмен на крепкую семью, где дети знают, что горячо любимы, а родители не разошлись и тоже любят друг друга».

Вот о чем я иногда думаю.

Недавно я рассказала об этом одной своей нью-йоркской подруге, она тоже писатель, и детей у нее нет, и она выслушала меня, а потом сказала: «Люси, я тебе ни за что не поверю».

Мне стало чуточку тошно от этих слов. К горлу подкатило одиночество. Потому что я сказала правду.

* * *

Насчет потенциальной Пэм Карлсон я не ошиблась. Через месяц с лишним после возвращения из Мэна Вильям позвонил мне и сказал:

— Люси, можешь кое-кого загуглить? — И продиктовал имя и фамилию одной женщины, и при первом же взгляде на нее я сказала:

— Нет, она тебе не подходит… Боже, нет.

И тогда Вильям сказал:

— Господи, Люси, спасибо.

Раньше, в перерывах между нашими браками — когда я была не замужем, а Вильям был не женат, — мы часто вот так помогали друг другу, давали советы, я имею в виду.

Не могу сказать, что именно в этой женщине так меня оттолкнуло, но на снимке она позировала в длинном платье на каком-то светском мероприятии, на вид она была лет на десять меня моложе, за спиной у нее виднелся красивый интерьер, но что-то — то ли в ее лице, то ли в самом ее существе — оттолкнуло меня с первой же секунды, какая-то претензия на особое отношение, что ли, и Вильям сказал:

— Я начал ухаживать за ней, и теперь она ведет себя очень напористо, недавно она пригласила

меня в гости, так я еле ноги унес.

На что я ему сказала:

— Больше к ней не ходи, это не то, что тебе нужно.

А он мне:

— Спасибо, Люси. — И после паузы: — Теперь она меня возненавидит, я как бы завоевал ее, а потом… Боже, меня от нее воротит.

— Возненавидит, и ладно, — сказала я.

— И то правда, — сказал Вильям.

Так что вот.

* * *

В последнее время я иногда ощущаю, как вокруг опускается занавес моего детства. Удушливый кошмар, тихий ужас — вот какое чувство преследовало меня все школьные годы, и на днях — вшух! — оно вновь ворвалось в мою жизнь. Такое тихое, но такое яркое воспоминание, чувство обреченности, с которым я росла, зная, что мне никогда не вырваться из этого дома (разве только в школу, а школа была для меня всем, хоть со мной никто и не дружил, все равно я вырывалась из дома), — когда все это вернулось, я ощутила жуткую, гнетущую тоску,

и не было от нее спасения.

В детстве у меня не было спасения, вот что я имею в виду.

Как-то раз я выступала на книжном мероприятии на Дальнем Юге — незадолго до того, как заболел Дэвид, — и наутро после мероприятия организаторша сказала мне по дороге в аэропорт: «Вы не похожи на жительницу большого города». Эта женщина росла в Нью-Йорке, и я не знала, что и думать; по-моему, она хотела меня задеть.

Но стоило ей сказать это, и я представила крошечный дом своего детства. И сразу погрузилась во мрак, и с тех пор кое-что не идет у меня из головы.

Что с возрастом от меня снова начинает вонять, что люди порой ведут себя так — на мой взгляд, — будто я попахиваю. Считала ли так организаторша, отвозившая меня в аэропорт, я не знаю.

Мне сейчас пришли на ум слова Лоис Бубар о том, что Кэтрин Коул «горожанка от макушки до пят» и что она явилась к ней, Лоис, с голыми ногами и в платье с кантом, и я подумала: «Кэтрин, вы это сделали, у вас получилось, вы пересекли невидимую черту!» В каком-то смысле она и правда ее пересекла. Взять хотя бы гольф.

Путешествия на Кайманы. Почему одни знают, как это делается, а другие — вроде меня — до конца жизни носят с собой душок среды, в которой росли?

Хотела бы я знать. Но уже не узнаю.

Кэтрин с этим своим ароматом, она покупала только его.

К чему я все это: на моей культурной карте всегда будут белые пятна, которые ничем не заполнить, не мелкие участки, а целые материки, и это пугает.

Вильям за руку ввел меня во внешний мир. Насколько меня можно было туда ввести. Это все он. И Кэтрин.

* * *

Как же я скучала по Дэвиду! Перед смертью он двое суток ничего не говорил и даже почти не шевелился, а умер он, когда меня не было рядом, я вышла позвонить. Позже я узнала, что это не редкость — многие ждут, пока их близкие выйдут из комнаты.

Но медсестра сказала мне — она сказала (о господи!), — что перед смертью Дэвид заговорил, глаза у него были закрыты, но он заговорил. Его

последние слова были: «Я хочу домой».

* * *

А я-то думала, что у меня с Дэвидом не было настоящего дома, — но он был! Наша маленькая квартирка окнами на реку и город.

Я не жалела, что осталась в ней, пусть даже наедине со скорбью.

Мне вдруг вспомнилось, что Дэвид любил есть малину с хлопьями по утрам. Свежая малина: он ходил на ярмарку выходного дня — каждое лето, в июле — и покупал малину, и мы ее замораживали, и Дэвид потом весь год ел малину с хлопьями по утрам, и мне вдруг вспомнилось, как однажды — у него через четыре дня была назначена колоноскопия, и врач велел пять дней не есть ничего с мелкими косточками, — и вот однажды утром, когда мы сели за стол (это был один из любимых моих ритуалов — наши с мужем завтраки), Дэвид сказал: «Постой, я забыл малину», и я напомнила ему о предписании врача, и лицо у него вытянулось, как у расстроенного ребенка, — и, господи боже, все мы знаем, как велико бывает детское горе, — и он сказал: «Что, даже сегодня?»

И тогда я принесла малину — каждый вечер он доставал из морозилки небольшую порцию, чтобы к утру она разморозилась, — и сказала: «Ладно, сегодня еще можно», и он ел свои хлопья с малиной и был счастлив.

Странно, что такие вот воспоминания остаются с нами, когда умирает любимый человек: Дэвид ел малину и был счастлив. Но стоит мне подумать об этом, и у меня сжимается сердце.

Я расскажу вам еще одну вещь о Дэвиде, последнюю.

Три-четыре года подряд я ходила в филармонию с человеком, с которым тогда встречалась. И не раз обращала внимание на виолончелиста. Он всегда очень медленно шагал по сцене — как я узнала впоследствии, из-за детской травмы у него было искривление таза (я об этом уже писала), вдобавок он был невысок и тучноват, и, направляясь к своему месту или уходя со сцены после концерта, — порой я задерживалась, чтобы посмотреть, как он уходит, — он ступал очень медленно и заметно хромал, а еще он выглядел старше своих лет; голова седая, с проплешиной на макушке. И он чудесно играл на виолончели. Когда я впервые услышала в его исполнении

до-диез-минорный этюд Шопена, в голове у меня промелькнуло: «Мне больше ничего не нужно». Это была даже не мысль. Я просто почувствовала, что мне ничего больше не нужно, только бы он играл.

Расставшись со своим кавалером, я еще дважды ходила в филармонию одна и после второго концерта загуглила виолончелиста, и, хоть это оказалось непросто, мне удалось узнать, как его зовут, Дэвид Абрамсон, но оставался вопрос, есть ли у него жена. Никаких сведений, кроме того, что он играет в филармонии, о нем не было. Вскоре я пошла в третий раз, и, когда концерт закончился и Дэвид направился за кулисы, я подумала: «Надо к нему подойти». И подкараулила его у служебного входа, стоял октябрь, и вечера были не очень холодные, и, когда он вышел, я шагнула ему навстречу и сказала: «Извините, мне страшно неловко вас беспокоить, но меня зовут Люси, и я вас люблю». Я поверить не могла, что сказала такое! «То есть я люблю вашу музыку», — добавила я. Бедняга стоял и слушал меня, мы с ним были почти одного роста, и наконец он сказал: «Большое спасибо» — и двинулся дальше. Тогда я сказала: «Нет, простите, я несу какой-то бред. Я давно люблю вашу музыку».

В приглушенном свете из открытой двери Дэвид взглянул на меня, я видела, что он на меня взглянул, и спросил: «Как, говорите, вас зовут?» Я повторила, и тогда он сказал: «Что ж, Люси, может, зайдем куда-нибудь выпить или перекусить? Куда бы вы хотели пойти?»

Это было похоже на провидение, говорил он потом.

Через полтора месяца мы поженились, и — впервые за долгие годы — я не боялась, что во втором браке начну вести себя странно, как это было, когда я вышла за Вильяма.

С Дэвидом Абрамсоном я не вела себя странно, с ним с того самого вечера, как мы познакомились, жизнь текла своим чередом.

* * *

Следующие пару недель я размышляла о Вильяме и о том, как мне всегда было с ним безопасно. Почему я считала, что мне с ним безопасно, в этом же нет никакой логики? Но в жизни редко бывает логика. И я спросила себя: «Что за человек этот Вильям?»

Мне вспомнилось, как в Мэне я сказала ему, что он женился на своей матери. Но за кого тогда вышла я? Точно не за своего отца…

За свою мать?

Ответа у меня нет.

А еще мне вспомнился толстяк из аэропорта и как я ощутила с ним родство; хоть я и чувствую себя невидимкой, мне все время кажется, что на мне клеймо, только поначалу его никто не замечает. И тогда я подумала: «Но ведь на Вильяме тоже клеймо».

И вспомнила, как Лоис Бубар слегка наклонилась вперед и спросила: «А с ним… как бы это сказать… с ним что-то не так?»

«Иди ты к черту, Лоис Бубар, — сказала я про себя. — Ну конечно, с Вильямом что-то не так!» И чуть не рассмеялась. Из-за того, что отреагировала на ее слова, как Вильям тогда.

* * *

А потом — как-то утром, в начале октября — я гуляла вдоль реки, а когда вернулась, в вестибюле меня ждал Вильям. Он сидел в кресле с книгой на коленях и, когда я вошла, медленно закрыл книгу и встал. «Привет, Люси», — сказал он. У него не было усов. И волосы стали короче. Просто удивительно, как сильно он изменился.

— Что ты здесь делаешь? — спросила я.

И он рассмеялся — почти настоящим смехом.

— Я пришел задать тебе один вопрос. — Он слегка поклонился, взглянул на швейцара, потом на меня и сказал: — Давай поднимемся к тебе.

Мы поднялись ко мне, и, робко переступив порог, Вильям сказал:

— Я и забыл, как тут все выглядит.

— А когда ты успел здесь побывать? — спросила я.

По какой-то причине я разнервничалась — без усов и с короткой стрижкой Вильям выглядел непривычно.

— Когда умер Дэвид и я помогал тебе с документами, — сказал он, оглядываясь по сторонам.

Боже, ну конечно, подумала я, а вслух сказала:

— Так что случилось? С чем связана смена образа? — И дотронулась пальцами до своей верхней губы.

Вильям пожал плечами:

— Захотелось чего-то новенького. Надоел мне Эйнштейн. — И взволнованно так добавил: — По-моему, я похож на… (Он назвал имя знаменитого актера.) Как тебе кажется?

В последний раз я видела Вильяма гладко выбритым много, много лет назад — мы тогда были юными, почти детьми. А теперь он уже не был юн.

— Ну, может. Немного. — Я не видела сходства между Вильямом и знаменитым актером.

Вильям снова окинул взглядом квартиру.

— А здесь мило, — сказал он. — Тесновато. И вещи разбросаны. Но мило. — И нерешительно присел на краешек дивана.

— Ты похож на свою мать, — сказала я. — Господи, Вильям, у тебя рот твоей матери!

И действительно, у нее были точно такие же тонкие губы. Но скулы у Вильяма выступали иначе, а еще у него как будто уменьшились глаза. Он похудел, догадалась я.

В окно с видом на реку лился утренний свет.

— Кстати, — сказал Вильям. — Ричард Бакстер родился не в той части Мэна, где мы с тобой были, а в Ширли-Фоллз.

Я не знала, что на это ответить, а потому ничего не ответила.

— Помнишь, ты ездила в Ширли-Фоллз? — продолжал Вильям. Я кивнула. — Так вот, я искал о нем информацию, и, оказывается, родился он именно там. Круто, а?

— Наверное.

И тогда Вильям прищурился и сказал:

— Люси, полетели со мной на Кайманы!

Я сказала:

— Что?

А он мне:

— Полетели со мной на Кайманы!

А я ему:

— Когда?

А он:

— В воскресенье.

— Ты шутишь? — сказала я.

— Если затянем, начнется сезон ураганов.

Я медленно опустилась в кресло у окна:

— Вильям, ты меня убиваешь.

Он пожал плечами и улыбнулся. Затем встал и сунул руки в карманы:

— Взгляни. — Он посмотрел на свои брюки, а после — по-детски так — на меня. — Не слишком короткие?

Это были брюки хаки, длинноватые, если уж на то пошло.

— Нормальные, — сказала я.

Вильям снова сел на диван.

— Ну же, Люси, соглашайся, — сказал он. Солнце било ему в глаза, и я подошла к окну и задернула шторы.

— Ты правда меня убиваешь, — сказала я, возвращаясь на место.

И Вильям погрустнел:

— Прости.

Он упер локти в колени и уставился в пол. Я смотрела на него и думала: «Кто ты, Вильям?»

Но это еще не все: по телу у меня пробежал холодок, неприятное такое чувство.

Вильям умоляюще на меня посмотрел:

— Лютик, ну полетели.

Странно, что он так меня назвал. Я хочу сказать, в тот момент это было странно. Неестественно, что ли.

Я спросила:

— Что у тебя за книга?

И Вильям показал мне обложку. Это была биография Джейн Уэлш Карлейль[5].

— Ты это читаешь?

— Да, а что?

Я сказала, что читала эту книгу и мне очень понравилось, на что Вильям ответил:

— Мне тоже, хоть я и только начал.

— Почему ты выбрал именно ее?

Он пожал плечами:

— Одна знакомая посоветовала.

---

**[5] Примечания: 5**

Джейн Уэлш Карлейль (1801–1866) — жена писателя, историка и философа Томаса Карлейля, известна своим эпистолярным мастерством. Собрания писем Джейн Уэлш Карлейль неоднократно издавались после ее смерти.

— А-а.

— Мне хочется лучше понимать женщин, вот я и взялся за эту книгу, — добавил он.

Я от души посмеялась, мне показалось, что это очень смешно. А Вильям посмотрел на меня таким взглядом, будто не понимал, что тут смешного.

— Ее написала моя подруга, — сказала я. Но этот факт, похоже, его не интересовал.

— Просто слетай со мной на Кайманы, — начал он снова. — Туда отправимся в воскресенье, обратно — в четверг. У нас будет три дня отдыха.

— Я завтра тебе отвечу. Это достаточно быстро?

— Не знаю, почему ты просто не согласишься, — сказал он.

— Я тоже не знаю, — сказала я.

Затем мы заговорили о девочках. Я упомянула, что пытаюсь вызвать у себя видение о беременности Крисси — вроде того, какое было у моей матери про меня.

— Но у меня не выходит. Я не вижу, получится ли у нее забеременеть.

— Нельзя заставить себя что-то увидеть, — сказал Вильям, и он был прав.

— Ты прав, — сказала я.

Вильям махнул рукой:

— Она еще забеременеет.

— Надеюсь, — сказала я.

Я чуть не передала ему слова Крисси о том, что он ведет себя как говнюк, но этот человек, сидевший напротив меня, без усов и с короткой стрижкой, выглядел каким-то странным, чужим. И я ничего не сказала.

Вильям чмокнул меня в щеку и ушел.

* * *

Лежа в постели и думая о Вильяме, о его усах и о нашей беседе, я вдруг осознала: «Он потерял авторитет».

Я села в постели.

Я встала и прошлась по квартире.

И все равно: он потерял авторитет.

Из-за того, что сбрил усы?

Возможно. Кто знает.

И вот что мне вспомнилось.

Через несколько лет после того, как я ушла от Вильяма, у меня завязались отношения с мужчиной, который жил напротив одного музея на Манхэттене. Этот мужчина меня любил, он хотел на мне жениться (он же водил меня в фи-

лармонию), но я не хотела за него замуж. Человек он был хороший, но с ним я испытывала тревогу. А вспомнилось мне вот что: в окна его квартиры всегда виднелась башенка музея. Каждую ночь — я бывала у него раза три в неделю — в башенке горел свет, и я всегда представляла, что там засиделся допоздна кто-то из музейных сотрудников; иногда я представляла мужчину — то молодого, то пожилого, — иногда женщину, и человек этот так любил свою работу, что трудился до глубокой ночи, и при мысли о том, как ему — или ей — одиноко в пустой башенке музея, я ощущала прилив нежности. Какое это было утешение!.. Из ночи в ночь, глядя на свет в окнах, я думала об одиноком человеке в башенке, и это меня утешало.

Лишь годы спустя я осознала, что ни разу — будь то в пятницу, субботу или воскресенье — не видела окна темными, свет горел всегда; лишь много лет спустя я осознала, что никто не работал в башенке с полуночи до трех ночи, когда на улице уже светлело и не было видно, что лампы внутри по-прежнему включены… Лишь много лет спустя я осознала, что поддерживала себя при помощи мифа.

По ночам в башенке никого не было.

И все же оно не исчезло из моих воспоми-

наний — чувство утешения, спасавшее меня из ночи в ночь в ту пору, когда я ушла от мужа, и мне было очень страшно, и рядом спал мужчина, который меня любил, но с которым мне было тревожно. И свет в башенке помог мне все это пережить.

Но свет оказался не тем, за что я его принимала.

* * *

То же и с Вильямом.

В голове не укладывалось; меня будто подхватила гигантская волна. Вильям был мифом, как свет в башенке, только я всю жизнь прожила, веря, что он чего-то стоит.

А потом я подумала: «Нет, чего-то он да стоит!»

Я сидела в кресле у окна и смотрела на огни города. Из моей квартиры виден Эмпайр-стейт-билдинг, и я долго смотрела на него, а после взглянула на дома напротив, там всегда где-нибудь горит свет.

И я подумала: «Придется изо всех сил делать вид, что ничего этого не произошло».

Мне хотелось оградить Вильяма от своего оза-

рения. И себя мне хотелось оградить тоже. Это правда, но главным для меня было — и я говорю это со всей откровенностью, на какую способна, — чтобы Вильям ни на каком уровне не почувствовал, что утратил в моих глазах авторитет.

Но Гензель и Гретель, которых я пронесла через всю жизнь, куда-то исчезли. Я больше не верила, что Гензель укажет мне путь. Мне больше не было с Вильямом безопасно — и все тут.

Я знала, что снотворное мне не поможет. Я встала и прошлась по квартире, а потом долгое время сидела в кресле у окна.

Я думала о наших девочках. Больше всего в Вильяме нуждалась Бекка — в фигуре отца, обладающего авторитетом, хоть она и не употребляла в его отношении это слово. Но я очень растрогалась, представляя ее милое детское личико. А еще я думала о Крисси, в ее глазах Вильям, вероятно, тоже до сих пор не утратил авторитет, он же все-таки ее отец. Но Крисси всегда была — как мне кажется — больше подготовлена к подобной утрате, чем милая Бекка. Кто знает почему? Кто знает, почему один ребенок получается таким, а другой — другим?

На рассвете я написала Вильяму: «Хорошо, я с тобой поеду». И он сразу ответил: «Спасибо, Лютик».

Потом я уснула.

Поздним утром я раскладывала на кровати одежду, которую планировала взять на Каймановы острова. То и дело я прерывалась и садилась на краешек кровати, чтобы подумать. Конечно же, я знала, почему Вильям позвал меня на Кайманы, а не куда-нибудь еще. Я представила, как мы лежим на шезлонгах, под солнцем, как раньше лежали они с Кэтрин. Я представила, как он читает биографию Джейн Уэлш Карлейль, а я читаю что-то свое; представила, как мы откладываем книги, чтобы поболтать, а потом берем их снова.

Я села на краешек кровати и сказала: «Ах, Кэтрин…»

А потом подумала: «Ах, Вильям!»

* * *

Но когда я думаю «Ах, Вильям!», не подразумеваю ли я и «Ах, Люси!» тоже?

Не подразумеваю ли я: «Ах, все… Ах, дорогие

все, кто живет в этом большом мире, мы не знаем друг друга и даже себя самих!»

Хотя чуточку, самую малость все-таки знаем.

Но все мы мифы, миражи. Мы все загадочные создания, вот что я пытаюсь сказать.

Пожалуй, это единственная в мире вещь, которую я знаю наверняка.

# Благодарности

Я хочу поблагодарить следующих людей.

Прежде всего и превыше всего — мою подругу Кейти Чемберлен, чья способность распознавать фальшивые ноты определила развитие моей карьеры.

Далее — моего бывшего редактора, ныне покойную Сьюзан Камил за то, что верила в меня и тем самым подарила мне свободу писать то, что я хочу и должна писать.

Также я очень признательна своему нынешнему редактору, замечательному Энди Уорду, достойно продолжившему дело Сьюзан; моему издателю и заступнице Джине Сентрелло; всей редакции «Рэндом хаус», которая очень мне дорога; моим надежным и невероятно чутким агентам Молли Фридрих и Люси Карсон; моей дочери Зарине Шей — за великодушие и веру в меня; моему старому другу Дарреллу Уолтерсу, подавшему идею для этого романа; моим подругам Беверли Гологорски, Джинни Крокер и Эллен Кросби — за то, что слушали меня; Ли и Сэнди Каммингс, оказавшим неоценимую помощь

в сборе сведений о жизни немецких военнопленных в Мэне; моему корректору, бесподобному Доктору Би — Бенджамину Дрейеру; отдельное спасибо Марти Фейнману, все эти годы поддерживавшему мое творчество.

И конечно — Лоре Линни, которая, сама того не сознавая, чудесным образом вдохновила меня на создание этой книги.